

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

OCR: С.Петров

Лекция I

[Философия сегодня. - Необычайное и правдивое приключение: пришествие истины. - Соотношение истории и философии.]

Лекция II

[Упадок и расцвет философии. - Драма поколений. - Империализм физики. - [Прагматизм.]

Лекция III

["Тема нашего времени". - "Наука" - это чистый символизм. - Мятёж наук. - Почему существует философия? - Точность науки и философское знание.]

[Приложение] [Происхождение познания]

Лекция IV

[Познание Универсума и Мультиверсума. - Примат проблемы над решением. - Теоретические и практические проблемы. - Панлогизм и жизненный разум.]

Лекция V

[Необходимость философии. Присутствие и соприсутствие. - Основная сущность. - Автономия и пантономия.] - Защита теолога перед мистиком.]

Лекция VI

[Ворование и теория, жизнерадостность-Интуитивная очевидность- Денные философской проблемы.]

Лекция VII

[Данные Универсума. - Картезианское сомнение. - Теоретическое первенство сознания. - Уподобление Я соколу]

Лекция VIII

[Открытие субъективности. - "Экстаз" и "спиритуализм" античности. - Два источника современной субъективности. - Трансцендентный Бог христианства]

Лекция IX

['Тема нашего времени. - Коренная реформа философии. - Основное ванное Универсума. - Я существую для мира. и мир существует для меня. - Жизнь каждого]

Лекция X

[Новая реальность и новая идея реальности. - Ничье бытие. - Жить - это оказаться а мире. - Жить - это постоянно решать, чем мы будем.]

Лекция XI

[Основная реальность жизни. - Категории жизни. - Теоретическая жизнь. - Окружение: фатальность и свобода. - Внутренняя модель: беспокойство и не-беспокойство.]

Х. Ортега-и-Гассет

ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ?

OCR: [С.Петров](#)

Лекция I

[Философия сегодня. -
Необычайное и правдивое
приключение: пришествие
истины. - Соотношение истории
и философии.]

Лекция II

[Упадок и расцвет философии. -
Драма поколений. -
Империализм физики. -
[Прагматизм.]

Лекция III

["Тема нашего времени." -
"Наука" - это чистый символизм.
- Мятеж наук. - Почему
существует философия? -
Точность науки и философское
знание.]

[Приложение] [Происхождение
познания]

Лекция IV

[Познание Универсума и
Мультиверсума - Примат
проблемы над решением. -
Теоретические и практические
проблемы. - Панлогизм и
жизненный разум.]

Лекция V

[Необходимость философии.
Присутствие и соприсутствие. -
Основная сущность. - Автономия
и пантономия.] - Защита теолога
перед мистиком.]

Лекция VI

[Ворование и теория;
жизнерадостность-Интуитивная
очевидность- Денные
философской проблемы.]

Лекция VII

[Данные Универсума. -
Картезианское сомнение. -
Теоретическое первенство

сознания. - Уподобление Я
соколу]

Лекция VIII

[Открытие субъективности. -
"Экстаз" и "спиритуализм"
античности. - Два источника
современной субъективности. -
Трансцендентный Бог
христианства]

Лекция IX

'[Тема нашего времени-
Коренная реформа философии.-
Основное вавное Универсума- Я
существую для мира. и мир
существует для меня - Жизнь
каждого]

Лекция X

[Новая реальность и новая идея реальности. - Нищее бытие, - Жить - это оказаться а мире. - Жить - это постоянно решать, чем мы будем.]

Лекция XI

[Основная реальность жизни. - Категории жизни. - Теоретическая жизнь. - Окружение: фатальность и свобода. - Внутренняя модель: беспокойство и не-беспокойство.]

Лекция I

[Философия сегодня. - Необычайное и правдивое приключение: пришествие истины. - Соотношение истории и философии.]

В сфере искусства, любви или идеи от заявлений и программ, я полагаю, нет большого толка. Что касается идей, подобное недоверие объясняется следующим: размышление на любую тему - если это по-настоящему глубокое и положительное размышление - неизбежно удаляет мыслителя от общепринятого, или расхожего, мнения, от того, что в силу более веских причин, чем вы теперь могли

бы предположить, заслуживает название-["общественного мнения", или "тривиальности". Любое серьезно" умственное усилие открывает перед нами неизведанные пути и уносит от общего берега к безлюдным островам, где нас посещают необычные мысли. Они плод нашего воображения. Так вот, объявление или программа заранее уведомляют нас о результатах, ни словом не обмолвившись о пути, который привел к их открытию. Но, как мы вскоре убедимся, мысль, оторванная от ведущего к ней пути, напоминает остров с крутыми берегами; это абстракция в

наихудшем смысле слова, поэтому она недоступна пониманию. Что пользы в самом начале исследования воздвигать перед публикой неприступный утес нашей программы. т. е. начинать с конца?

Поэтому я не стану большими буквами печатать в программе содержание этого цикла лекций, а предлагаю начать с начала, с того, что может стать для вас сегодня, как было для меня вчера, исходной точкой.

Факт, с которым мы прежде всего сталкиваемся, очевиден и общеизвестен: сегодня философия

заняла в коллективном сознании иное место, чем это было тридцать лет назад, и соответственно сегодня изменилось отношение философа к своей профессии и своему труду. Первое, как и любви очевидный и общеизвестный факт, можно подтвердить с помощью не менее очевидных примеров: в частности, сравнив статистические данные о том, сколько книг по философии раскупается сейчас, с тем, сколько их раскупалось тридцать лет назад. Известно, что сегодня почти во всех странах продажа философских книг растет быстрее, чем продажа художественных, и всюду

наблюдается живейший интерес к идеологии. Этот интерес, это стремление, осознаваемое с различной степенью ясности, складывается из потребности в идеях и в наслаждения, которое люди опять начинают от них испытывать.

Сочетание этих двух слов не случайно: мы еще убедимся, что любая существенная, внутренняя потребность живого организма в отличие от второстепенных, внешних потребностей сопровождается наслаждением. Наслаждение - это облик, счастья. И всякое существо счастливо, когда следует своему предназначению, иными словами,

своим склонностям, удовлетворяет
насуточные потребности; когда оно
осуществляет себя, является тем, что
оно есть на самом деле. Поэтому
Шлегель, переворачивая отношение
между наслаждением и судьбой,
говорил: "Мы гениальны в том, что
нам нравится". Гений, т. е.
величайший дар, полученный
существом для выполнения какого-
либо дела, всегда сопровождается
проявлением высшего удовольствия.
Вскоре под напором лавины
доказательств нам с изумлением
придется убедиться в том, что
сегодня может показаться пустой

фразой: наша судьба и есть паше высшее наслаждение.

Вероятно, у нашего времени, по сравнению с предшествующим, философская судьба, поэтому нам нравится философствовать - для начала прислушиваться, когда в общественной атмосфере, подобно птице, промелькнет философское слово, внимать философу, как страннику, быть может принесшему свежие вести из запредельных стран.

Подобная ситуация прямо противоположна той, что была тридцать лет назад! Любопытное совпадение. Срок, как принято,

считать, отделяющий одно поколение от другого.

И в удивительном согласии с этим изменением общественного настроения мы обнаруживаем, что сегодня философ подходит к философии в совсем ином расположении духа, чем его коллеги предшествующего поколения. Об этом мы сегодня и будем говорить: о том, что настроение, с которым мы приступаем к философствованию, глубоко отличается от настроения, господствовавшего среди философов вчера. Сделав это исходной точкой вашего курса лекций, мы будем постепенно приближаться к его

истинной теме, которую пока не стоит называть, так как название нам ничего не скажет. Мы станем приближаться к ней кругами с каждым разом смыкая их все теснее и требовательней, скользя по спирали - от чистой экстериорности, на вид отвлеченной, равнодушной и холодной, к сокровеннейшему центру, полному собственным, не привнесенным нами, внутренним драматизмом. Большие философские проблемы требуют той же тактики, что была применена иудеями при взятии Иерихона с его розами: избегая прямого боя, они медленно обходили вокруг города, смыкая

кольцо все теснее под неумолчные драматические звуки труб. При идеологической осаде драматизм мелодии достигается постоянной сосредоточенностью нашего сознания на проблемах, представляющих собой драму идей. Надеюсь, его напряжение не ослабнет, ибо избранный нами путь таков, •что привлекает тем сильнее, чем дальше по нему идешь. От невнятных поверхностных слов, которые мы должны сегодня произнести, мы спустимся к более близким вопросам, ближе которых не может быть ничего, к вопросам о нашей жизни, жизни каждого из нас.

Мало того, мы будем бесстрашно погружаться в то, что каждый считает своей жизнью и что на деле оказывается только ее оболочкой; пробив ее, мы попадем в подземные глубины нашего бытия, остающиеся для нас тайной просто потому, что они находятся внутри нас, потому, что они - ваша суть.

Однако, повторяю, рассуждая об этом, обращаясь к вам с этим неясным начальным замыслом, я не объявляю свою программу, совсем напротив, я вынужден принять меры предосторожности, столкнувшись неожиданно с огромным числом слушателей, которых пожелал мне

послать наш щедрый беспокойный город, гораздо более беспокойный и беспокойный в гораздо более глубоком смысле, чем принято считать. Я объявил академический и, стало быть, строго научный курс под названием "Что такое философия?". Возможно, многие были сбиты с толку неизбежной двусмысленностью названия, решив, что я предлагаю введение в основы философии, т. е. поверхностное рассмотрение набора традиционных философских вопросов, поданное в новой форме. Необходимо отчасти рассеять это заблуждение, способное только запутать ваши мысли и

отвлечь ваше внимание. Я задумал нечто совершенно противоположное введению в философию: взять самую философскую деятельность, само философствование и подвергнуть их глубокому анализу. Насколько мне известно, никто никогда этого не делал, хотя в это трудно поверить; по меньшей мере, не делал с той решимостью, с которой мы с вами сегодня попытаемся это сделать. Как видите, этот вопрос совсем не из тех, что обычно вызывают всеобщий интерес; на первый взгляд, он представляется сугубо специальным и профессиональным вопросом для одних только философов. И если в

ходе его рассмотрения окажется, что мы столкнулись с самыми широкими общечеловеческими темами, если при строгом расследования вопроса, что такое философия как особое, частное занятие философов, мы вдруг провалимся в люк и окажемся в самом что ни на есть человеческом, в горячих, пульсирующих недрах жизни, и там вас неотступно будут преследовать заманчивые проблемы улицы и даже спальни', то это будет потому, что так и должно быть, что этого требует специальное изложение моей специальной проблемы, а вовсе не потому, что я об этом объявил, или к атому

стремился, или это придумал.
Напротив, я обещаю лишь одно:
монографическое исследование
сверхспециального вопроса. Поэтому
я оставляю за собой полное право на
все интеллектуальные
шероховатости, неизбежные при
осуществлении подобного
намерения. Конечно, я должен
честно стараться, чтобы мои слова
были понятны всем вам, даже не
получившим предварительной
подготовки. Я всегда полагал, что
ясность - вежливость. философа, к
тому же сегодня, как никогда, наша
дисциплина считает за честь быть
открытой и проницаемой для всех

умов в отличие от частных наук, которые с каждым днем все строже охраняют сокровища своих открытий от любопытства профанов, поставив между ними чудовищного дракона недоступной терминологии. По моему мнению, исследуя и преследуя свои истины, (философ должен соблюдать предельную строгость в методике, однако когда он их провозглашает, пускает в обращение, ему следует избегать циничного употребления терминов, дабы не уподобиться ученым, которым нравится, подобно силачу на ярмарке, хвастать перед публикой бицепсами терминологии.

Итак, я говорю, что сегодня наше представление о философии в корне отличается от представления предыдущего поколения. Но это заявление равносильно признанию, что истина меняется, что вчерашняя истина сегодня становится заблуждением, и стало быть, сегодняшняя истина, вероятно, уже не будет пригодна завтра. Не значит ли это заранее умалять значение нашей собственной истины? Довольно грубым, зато и наиболее популярным аргументом скептицизма был троп Агриппы о расхождении во мнениях. Многообразие и изменчивость

мнений об истине, приверженность различным и даже па вид противоречивым учениям рождает недоверие. Поэтому нам следует не медля дать отпор этому расхожему скептицизму.

Вы, вероятно, не раз обращали внимание на необычайное, но правдивое происшествие. Возьмем, к примеру, закон всемирного тяготения. В той мере, в какой этот закон является истиной, он, несомненно, был ею всегда, т. е. с тех пор, как существует материя, обладающая весом, существуют тела; последние всегда вели себя в соответствии с его формулой. Тем не

менее пришлось дожидаться, пока в один прекрасный день XVII в. его не откроет один человек с Британских островов. И наоборот, нет ничего невозможного в том, что в другой прекрасный день люди забудут этот закон - не опровергнут или уточнят, поскольку мы предполагаем его полную истинность, а просто забудут и станут относиться к нему так же, как до Ньютона, - не будут даже подозревать о нем. Это придает истинам двойное, весьма курьезное ' свойство. Сами по себе они предсуществуют всегда, не претерпевая ни малейшего искажения иди изменения. Однако

то, что ими овладевает реальный субъект, подверженный воздействию времени, сообщает им видимость историчности: они возникают в один прекрасный день и, быть может, улетучатся в другой. Ясно что эта временность относится собственно не к ним, а к их присутствию в человеческом разуме. Во времени на самом деле происходит психический акт, в котором мы их мыслим, он-то и является, реальным происшествием, действительным изменением В череде мгновений. Строго говоря, истории принадлежит лишь ваше знание или незнание. Именно этот факт представляется

таинственным и тревожным, так как оказывается, что с помощью нашей мысли - изменчивой и эфемерной реальности в высшей степени эфемерного мира - мы получаем во владение нечто постоянное и вневременное. Таким образом, мышление - это точка соприкосновения двух миров с антагонистической консистенцией. Наши мысли рождаются и умирают, уходят и возвращаются, погибают. А в это время их содержание, то, что мыслится, остается неизменным. Дважды два всегда четыре, несмотря на то что интеллектуальный акт, в котором мы это постигли, уже

осуществился. Однако говорить так, утверждать, что истины вечны, значит употреблять неадекватное выражение. Вечное, непреходящее бытие означает определенное постоянство на протяжении всего временного ряда, неограниченную длительность, которая ничем не отличается от эфемерной длительности, а длиться - значит быть погруженным в поток времени и так или иначе зависеть от его течения. Так вот, истины не имеют никакой - ни малой, ни большой длительности, они не обладают никаким временным атрибутом, их не омывает река времени. Лейбниц

назвал их *verites eternelles*, на мой взгляд также неточно. Вскоре мы поймем, в силу каких веских причин. Если непреходящее длится столько же, сколько время в целом само по себе, то вечное существует до начала времени и после его конца, хотя и положительно включает в себя все время; это гиперболическая длительность, сверхдлительность. В этой сверхдлительности длительность сохраняется и вместе с тем уничтожается: вечное существо живет бесконечно, т. е. жизнь его длится мгновение, или не длится, ему присуще "совершенное обладание сразу всей полнотой

бесконечной жизни". Таково в действительности изящное определение вечности, предложенное Боэцием: *interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio*. Однако отношение истин ко времени не позитивно, а негативно, они просто ни в каком смысле не имеют ко времени никакого отношения, они полностью чужды любому временному определению, они всегда строго ахроничны. Поэтому заявление, что истины являются таковыми всегда, строго говоря, не содержат ни малейшей неточности, как если бы мы сказали - вспомнив знаменитый пример,

использованный Лейбницем в других целях, - "зеленая справедливость".

На идеальном корпусе справедливости нет ни отметины, ни отверстия, к которому можно бегло бы прищепить атрибут "зелености", и сколько бы мы ни пытались проделать это, мы видим, что он соскальзывает со справедливости, как с полированной поверхности. Соединить оба понятия не удастся: хотя мы и произносим их вместе, они упорно сохраняют обособленность, исключая возможность соединения, или слияния. Итак, нет большей разнородности, чем между

вневременным способом существования, характерным для истин, и временным существованием субъекта, который их открывает и постигает, осознает или не осознает, помнит или забывает. Если мы все же употребляем выражение "истины являются таковыми всегда", то потому, что практически это не ведет к ошибочным следствиям: это невинная и удобная ошибка. Благодаря ей мы рассматриваем столь необычный способ существования истины. Во временной перспективе, в которой нам привычно рассматривать вещи нашего мира. И наконец, говорить о

чем-то, что она всегда является тем, что оно есть, значит утверждать его независимость от временных изменений, его неуязвимость. Таким образом, в пределах временного есть признак, более всего напоминающий чистую вневременность, - квазиформа вневременности, *species quaendum aeternitatis* .

Поэтому Платон, почувствовав, что истины, которые он называл идеями, следует поместить вне временного мира, изобретает другое квазиместо, лежащее за пределами мира, надлунный мир; хотя этот шаг имел серьезные последствия, нельзя не признать, что как образ это понятие

плодотворно. Оно позволяет представить наш временный мир как мир, окруженный иным пространством, с иной онтологической атмосферой, где бесстрастно пребывают вневременные истины. Но вот в один прекрасный миг одна из этих истин - закон всемирного тяготения - просачивается из этого надлунного мира в наш, проскользнув сквозь внезапно открывшееся отверстие. Упав, идеальный метеорит остается в реальном, человеческом и историческом мире - таков образ пришествия, сошествия с небес,

трепещущий в глубине всех божественных откровений.

Но это падение и просачивание истины из надлунного мира в ваш мир ставит очевидную и многозначную проблему, которая, к нашему стыду, еще ждет своего исследования. Отверстие, которое, открывшись, пропускает истину, - это просто человеческий разум. Тогда почему некую истину схватывает, улавливает некий человек в некое время? Почему о ней не задумывались раньше или позже? Почему ее открыл именно этот человек? Очевидно, речь идет о существенном сходстве между

конфигурацией этой истины и формой отверстия - субъекта, - сквозь которое она проходит. Все имеет причину. Если случилось так, что до Ньютона закон всемирного тяготения не был открыт, значит между человеческим индивидом Ньютоном и этим законом существовало определенное родство. Какого вида это родство? Подобие? Проблему не следует облегчать, напротив, необходимо подчеркнуть ее загадочность. Каким образом человек может походить, к примеру, на геометрическую истину? - впрочем, как и на любую другую. Чем теорема Пифагора похожа на

человека Пифагора? Школьник остроумно ответит, что штанами, испытывая неосознанное желание соединить теорему с личностью ее автора. К сожалению, у Пифагора не было штанов, в то время их носили только скифы, которые зато не открывали теорем.

Здесь мы впервые сталкиваемся с коренным различием между нашей философией и той, которая господствовала в течение многих веков. Это различие состоит в том, что нашу философию занимают самые элементарные вещи, например тот факт, что между видящим, воображающим или думающим

субъектом и тем, что он видит или воображает, нет прямого подобия; напротив, есть родовое различие. Когда я думаю о Гималаях, ни я - тот, кто думает, - ни мой мыслительный акт не похожи на Гималаи: Гималаи - это горы, занимающие огромное пространство, моя мысль ничем не напоминает горы и не занимает ни малейшего места. Подобное происходит и тогда, когда вместо того, чтобы думать о Гималаях, я думаю о числе восемнадцать. В моем Я, в моем сознании, в моей душе, в моей субъективности - как это ни назови - я не обнаружу ничего имеющего отношение к

восемнадцать. К тому же можно сказать, что я мыслю восемнадцать единиц в одном-единственном акте. Кто скажет, что они похожи? Таким образом, речь идет о разнородных сущностях. И том не менее основной задачей истории, если однажды она действительно захочет стать наукой, должно быть одно: показать, что такая-то философия или такая-то политическая система могли быть открыты, развиты, короче, пережиты только людьми такого-то типа, жившими в такое-то время. Почему из множества возможных философий один "критицизм" нашел прибежище, осуществился в душе Канта? Разве не

очевидно, что объяснить, понять это можно только построив двойную таблицу ' соответствий, где каждому виду объективной идеи соответствовало бы сходное субъективное состояние, тип человека, способного ее мыслить?

Однако не будем впадать в тривиальность, которая последние восемьдесят лет препятствовала развитию мышления, не будем истолковывать сказанное в духе крайнего релятивизма, согласно которому каждая истина является истиной только для определенного субъекта. То, что настоящая истина годится для всех, и то, что ее удастся

узнать и усвоить только одному или нескольким из всех, либо только в ту или иную эпоху, - вещи совершенно разные, и именно поэтому необходимо их связать, согласовать, преодолев скандальную ситуацию, в которую попало мышление, когда абсолютная ценность истины казалась несовместимой с изменением мнений, так часто происходившим в человеческой истории.

Нужно понимать, что мысли меняются не в результате изменения вчерашней истины, сегодня ставшей заблуждением, а в результате изменения ориентации человека,

благодаря которому он начинает видеть перед собой другие истины, отличающиеся от вчерашних. Стало быть, меняются не истины, а человек, и он, меняясь, просматривает ряд истин и отбирает из потустороннего мира, о котором мы ранее упоминали, наиболее ему близкие, не замечая всех остальных, обратите внимание на то, что это главное аргіогі истории. Разве не это составляет содержание человеческой истории? И что такое существо, называемое человеком, чьи изменения во времени стремится изучать история? Определить человека нелегко; диапазон его

различий огромен; чем полнее и шире будет концепция человека, с которой историк начинает свою работу, тем глубже и точнее окажется его труд. Человек - это и Кант, и пигмей с Новой Гвинееи или австралийский неандерталец. Тем не менее между крайними точками человеческого разнообразия должен существовать минимум общности, перед последним пределом должно находиться пространство, отводимое роду человеческому. Античность и средневековье располагали лаконичным и, к нашему стыду, фактически непревзойденным определением человека: разумное

животное. Оно не вызывает возражений, но, к сожалению, для нас стало весьма проблематичным ясное представление о том, что такое животное и что такое разумное существо. Поэтому из соображений исторического характера мы предпочитаем говорить, что человек - это любое живое существо, думающее осмысленно и поэтому нами понимаемое. Минимальное допущение истории состоит в том, что субъект, о котором она говорит, может быть понят. Однако пониманию доступно только то, что в некоторой мере обладает истиной. Мы не смогли бы распознать

абсолютное заблуждение, потому что просто его не поняли бы. Таким образом, основное допущение истории прямо противоположно крайнему релятивизму. При изучении культуры первобытного человека мы предполагаем, что его культура обладала смыслом и истиной, а если она ею обладала, то обладает и сейчас. В чем эта истина, если на первый взгляд действия и мысли этих созданий кажутся такими нелепыми? История - это и есть второй взгляд, умеющий находить смысл в том, что кажется бессмысленным.

Стало быть, история не может быть настоящей историей, не выполняя

своей основной задачи: понять человека любой, пусть даже самой примитивной эпохи. Однако попятить его можно только в том случае, если сам человек этой эпохи ведет осмысленную жизнь, т. е. его мысли и поступки имеют рациональную структуру. Итак, история берется вынести оправдание всей временам, т. е. осуществляет как раз обратное тому, что нам казалось на первый взгляд: развертывая перед нами все разнообразие человеческих мнений, она якобы обрекает нас на релятивизм, но так как она придает каждому относительному положению человека всю полноту

смысла, открывая нам вечную истину каждой эпохи, она решительно преодолевает несовместимость релятивизма с верой в торжествующую над относительностью и как бы вечную судьбу человека. У меня есть определенные причины надеяться, что в наше время интерес к вечному и неизменному, т. е. философия, и интерес к преходящему и меняющемуся, т. е. история, впервые соединятся и заключат друг друга в объятия. Для Декарта человек - это чисто рациональное существо, не способное к изменениям; поэтому история представлялась ему

историей нечеловеческого в человеке, и он в конечном счете объяснял ее греховной волей, постоянно вынуждающей вас пренебрегать жизнью разумного существа и пускаться в недостойные человека авантюры. Для него, как и для XVIII в., история лишена позитивного содержания и представляет собой череду человеческих заблуждений и ошибок. Историцизм и позитивизм XX в., напротив, отказываются от всех вечных ценностей ради относительной ценности каждой эпохи. Сегодня не стоит насиловать нашу чувственность, не желающую

отказываться ни от одного из двух измерений: временного и печного. Их соединение должно стать великой философской задачей современного поколения, и решить ее поможет разработанный мною метод, который немцы, склонные к навешиванию ярлыков, окрестили "перспективизмом".

Можно сказать, что с 1840 по 1900 г. человечество переживало один из самых неблагоприятных для философии периодов. Это было антифилософское время · Если бы без философии в сущности можно было обойтись, за эти годы она,

несомненно, исчезла бы совершенно. Но поскольку человеческий разум нельзя совсем лишить философского измерения, оно было сведено к минимуму. И сегодня ваша общая с вами битва, которая все еще обещает быть упорной, заключается как раз в том, чтобы вновь выйти к полной и совершенной философии, - словом, к максимуму философии.

Как же произошел этот упадок, это истощение корпуса философии? Подобный факт объясняется целым рядом причин, которыми мы займемся в следующий раз.

Лекция II

[Упадок и расцвет философии. -
Драма поколений. - Империализм
физики. - [Прагматизм.]

По некоторым соображениям,
рассуждать о которых теперь нет ни
времени, ни желания, я был
вынужден отказаться от чтения
публичного курса в университете.
Так как я взялся за это дело не из
прихоти или каприза, а движимый
серьезным намерением неотложной
потребностью поделиться новыми
размышлениями, которые, на мой
взгляд, не лишены интереса, я
подумал, что не могу позволить
удушить этот курс при рождении,
поставив его в зависимость от

смехотворных и малосущественных обстоятельств. Поэтому сегодня я здесь перед вами.

Так как многие из присутствующих слушали мою первую лекцию, я не стану повторяться. Я лишь хотел бы остановиться на двух основных положениях.

Во-первых, название этих лекций - "Что такое философия?" - не предполагает введения в основы философии, совсем напротив. Мы обратимся к философии в целом, к самому философствованию и подвергнем его решительному анализу. Почему в мире людей

существует эта странная порода - философы? Почему среди человеческих мыслей есть такие, которые называют "философиями"? Как видите, это отнюдь не популярная, а узкоспециальная тема. К тому же не забывайте, что речь идет об академическом, университетском курсе. Честно объявив маршрут предстоящего плавания, я оставляю за собой полное право на все концептуальные шероховатости, неизбежные при достижении подобной цели. Конечно, я обязав заботиться о том, чтобы быть понятным для всех, ибо, как я уже говорил, считаю, что

ясность - вежливость философов. Кроме того, сама специфика решения этой специальной в даже сверхспециальной проблемы ставит перед нами самую неспециальную проблему: определить в проанализировать, что же такое "наша жизнь" в самом непосредственном и прямом смысле этих слов, включая сюда и вашу повседневную жизнь. Более того, с наибольшей точностью мы должны определить именно то, что носит туманное название повседневной обыденной жизни.

Второе положение моей первой лекции, на котором мне хотелось бы

остановиться, состоит в том, что в философии прямой путь, как правило, не бывает самым коротким. Покорить большие философские темы можно только применяя тот же подход, что иудеи при осаде Иерихона: приближаясь окольными путями, смыкая круги все теснее и ближе к желанному центру. Поэтому все вопросы, которых мы коснемся, даже те, которые, на первый взгляд, носят скорее литературный характер, снова и снова будут возникать в последующих кругах, становящихся все уже и требовательней. Вы часто будете замечать, как то, что сначала казалось пустой фразой и

замысловатой метафорой,
приобретает вид серьезной и строгой
проблемы.

В конце моей первой лекции я
говорил, что последние шестьдесят
лет XIX в. были одним из самых
неблагоприятных этапов в развитии
философии. Это было
апифилософское время. Если без
философии можно было бы
обойтись, не сомневаюсь, что в те
годы она совершенно исчезла бы. Но
так как из человеческого разума,
разбуженного культурой, не вырвать
философского измерения, оно было
сведено к минимуму. Поэтому
сегодня настроение, или

расположение духа, с которым философ приступает к работе, состоит в отчетливом желании вновь выйти в открытое море полной и совершенной философии, короче, философии во всем ее объеме.

За последние тридцать лет отношение философа к собственной работе изменилось. Сейчас я говорю не о том, что содержание философских учений теперь иное, чем четверть века назад, а о том, что в самом начале своей работы, прежде чем продумать и усвоить это содержание, сегодняшний философ пребывает в совершенно ином настроении, или расположении духа,

чем мыслители предшествующих поколений.

Естественно, перед лицом подобных перемен возникает вопрос: как произошло такое угнетение и смущение философского духа и что дало ему возможность вновь обрести силу и веру в себя и даже перейти в наступление? Удовлетворительно объяснить первое и второе событие можно лишь определив умонастроение европейца того и другого периода. Любое объяснение зримых изменений, появляющихся на поверхности истории, которое не проникает в недра человеческой души, чтобы найти там скрытые

таинственные изменения, - само остается поверхностным. Им можно довольствоваться только при ограниченных целях исследования. Таково, например, предстоящее нам сегодня объяснение изменений, о которых я упомянул; однако не следует забывать, что оно неудовлетворительно, ибо лишает историческое событие его глубинного измерения и переводит исторический процесс в простую двумерную плоскость.

Итак, серьезно исследовать, почему происходят эти изменения в философском, политическом или художественном образе мыслей,

значит поставить грандиозный вопрос - вопрос о том, почему меняются времена, почему сегодня мы не думаем и не чувствуем так, как сто лет назад, почему человечество не остановилось на одном и том же репертуаре, а, напротив, постоянно пребывает в беспокойстве, движении; сегодня убегает от своего вчера, ежечасно меняя не только фасон своей шляпы, но и душевный настрой. Короче, почему существует история? Нет нужды заявлять, что при рассмотрении такого возвышенного предмета вам следует благоговейно свернуть в сторону, подступая к нему издалека. Но мне

важно отметить, что до сегодняшнего дня историки не затрагивали главную причину исторических иеремеев.

Лицо истории, звучание времен не изменится из-за того, что кто-то изобрел новую идею или новое чувство, - как не изменится цвет Атлантического океана из-за того, что художник-маринист омыл в нем свою кисть, вымазанную киноварью. Но если вдруг огромная людская масса усвоит эту идею и загорится этим чувством, арена истории, лик времен окрасятся в новый цвет. Так вот, огромные людские массы не принимают новой идеи, не загораются особым чувством не

потому, что им их не проповедуют. Нужно, чтобы идеи и чувства были у них уже сформированы, созрели, были им свойственны. Без этого глубокого, Спонтанного предрасположения массы любой пророк останется пророком в пустыне.

Потому исторические перемены требуют появления таких людей, которые так или иначе отличались бы от тех, что были, - т. е. требуют смены поколений. Уже давно я твержу историкам, что понятие поколения - самое важное в истории. И должно быть, да свете появилось новое поколение историков, так как я

замечаю, что эта идея привилась, особенно в Германии.

Чтобы в мире произошли серьезные изменения, нужно, чтобы изменился тип мужчины и, разумеется, женщины; чтобы появилось множество похожих друг на друга созданий с новым жизненным восприятием. Это и есть поколение: разновидность человека в том строгом смысле слова "разновидность", которое ему придают естествоиспытатели. Его представители входят в мир, Наделенные особыми, характерными склонностями, предпочтениями, сообщающими их облику нечто

общее, отличающее их от предшествующего поколения.

Но в этой идее таятся неожиданная энергия и драматизм, поскольку в любом настоящем живут три поколения: молодежь, зрелые люди и старики. Это означает, что любая историческая действительность, любое "теперь" охватывает, строго говоря, три разны" времени, три разных "теперь" или, иными словами, это настоящее заключает в себе три основные жизненные величины, сосуществующие в нем, хотя они этого или нет связанные друг с другом, и поневоле - ведь они разные - в неизбежной вражде.

"Теперь" - это для одних двадцать, для других - сорок, а для третьих - шестью десять лет; в этом вынужденном пребывании трех различных образов жизни в одном и том же "теперь" обнаруживаются динамичный драматизм, конфликт и коллизия, составляющие основу, исторической материи всякого действительного сосуществования. И в свете этого замечания в кажущейся ясности даты проглядывает скрытая двусмысленность: 1929 г. видится единым временем, но в 1929 г. живут юноша, мужчина и старик, и эта цифра троится в трех различных значениях и одновременно все их

объемлет. Это единство исторического времени трех разных поколений. Мы все современники, мы живем в одном и том же времени и Остановке, но мы в разное время способствовали их формированию. Одинаковы лишь ровесники. А современники не ровесники. В истории обязательно нужно проводить различие между ровесниками и современниками. Три разных жизненных времени живут, разместившись в одном и том же внешнем хронологическом времени. Это то, что я обычно называю главным анахронизмом истории. Благодаря этой внутренней

неустойчивости она движется,
меняется, поворачивается, течет.
Если бы все современники стали
ровесниками, то история,
лишившись всякой способности к
коренным изменениям, застыла бы,
разбитая параличом. Однажды я
представил поколение в виде
"каравана, в котором шагает узник,
непонятно почему считающий себя
свободным и счастливым. Он шагает,
храня верность поэтам своей эпохи,
политическим идеям своего времени,
юношескому идеалу женской
красоты и даже походке,
приобретенной к 25 годам. Время от
времени он видит, как проходит

другой караван, вид. которого странен и чужд: это другое поколение. Быть может, однажды, в день праздника, их перетасует оргия, но в обычной жизни хаотическое объединение распадается на две действительно органичные группы. Каждый индивид таинственным образом узнает других членов своей группы: так муравьи из одного муравейника отличают друг друга по особому запаху. То, что мы навечно прикованы судьбой к одной и той же возрастной группе и образу жизни - довольно невеселое открытие, к которому рано или поздно приходит всякий чувствительный человек.

Поколение - это мода на существование в целом, оставляющая на человеке неизгладимую печать. У некоторых первобытных народов каждую группу ровесников можно узнать по татуировке. Узор на коже, который был в ходу во времена их отрочества, отпечатался на их бытии. "В этой фатальности, как и во всех фатальностях, есть мельчайшие отверстия, сквозь которые умеют ускользать некоторые гении. Есть люди, до старости сохраняющие неистощимую пластичность, неиссякаемую юность, благодаря чему они способны обновляться дважды и даже трижды и жизни.

Обычно такие люди играют роль предвестников, и новое поколение угадывает в них старших братьев, пришедших слишком рано. Но эти случаи относятся к разряду исключений, которые в биологии, как в никакой другой области, подтверждают.

Проблема, которую ставит перед жизнью каждого человека ощущение фатальной прикованности к одному поколению, являет пример того, что я назвал искусством жизни. Речь идет о фатальности, однако тот факт, что некоторые от нее ускользают, наслаждаясь более долгой юностью, показывает, что это проницаемая,

растяжимая фатальность, или, как выразился великолепный Бергсон, *fata1ite modifiable*. Если что-либо достаточно характерное для нашего времени представляется вашей душе чуждым в непонятным, значит у вас появилось желание составить. В любом организме - человеческом или общественном - присутствует это граничащее с наслаждением стремление отречься от настоящего, всегда связанного с обновлением, и по инерции впасть в прошлое и привычное, - стремление понемногу устаревать. Так к пятидесяти годам человек, занимавшийся спортом, вдруг чувствует желание бросить

свои упражнения и отдохнуть. Если он сделает это, он пропал. Мышцы его потеряют упругость и быстро одряхлеют; но если он, отвергнув сладость отдыха, преодолееет это первое желание расслабиться и не уменьшит нагрузки, он с удивлением увидит, что его мышцы все еще хранят неожиданный запас молодости. Этим я хочу сказать, что нужно восстать против послушной покорности судьбе, приковавшей нас к одному поколению и обновиться, еще раз почувствовав себя молодым. Не забывайте, что всем проявлениям жизни свойственна заразительность. Заражаются не только болезнью, но

и здоровьем; заразительны порок и добродетель; заразительны старость и молодость. Как известно, самым обещающим разделом современной биологии является экспериментальное изучение омоложения. С помощью определенной моральной и физической гигиены возможно в известных границах продлевать молодость, не закладывая душу дьяволу. Быстро старится тот, кто хочет стареть, точнее, не хочет жить, ибо не способен отдаться бешеной жажде жизни. Того, кто паразитирует на себе самом, вместо того чтобы

покрепче вцепиться в судьбу, поток времени уносит в прошлое.

Но когда более невозможно продлевать молодость, еще есть время решиться на широкий жест, и, если не хватает сил жить обновленной жизнью, надо радоваться, что ею живут другие, хотеть чтобы будущее не походило на нас, смело признать за ним его самовластную новизну. В этом проблема зрелого человека: прошлое тянет его назад, возбуждает в нем желчность, досаду на будущее. Вместе с тем он еще не рассчитался со своей молодостью она еще близка, но принадлежит уже не ему; так

военные трофеи - копье и латы,
мирно висящие на стене, - уже
никого не страшат. Неважно, если
твоей юности не суждено вернуться,
пусть придет другая! В Сахаре
бытует поговорка лаконично
рисующая нравы пустыни, где люди,
их стада и вьючный скот должны
напиться из крошечного озерца, в
ней говорится: "Напейся из колодца
и уступи место другому", это - девиз
поколения, каравана.

Этот совет высокой жизненной
гигиены увел нас в сторону от
намеченного пути. Я просто хотел
сказать, что в любом настоящем
соединение трех поколений ведет к

смене эпох. Поколение детей всегда немного отличается от поколения отцов, оно представляет собой как бы новый уровень восприятия существования. Только разница между детьми и отцами обычно совсем невелика, так что в главном преобладает сходство: тогда дети видовой задачей в том, чтобы продолжать и совершенствовать образ жизни отцов. Но иногда дистанция между ними бывает огромной: поколение не находит почти ничего общего с предыдущим. Тогда говорят об историческом кризисе. Этим отличается и наше время, причем в высочайшей

степени. Хотя перемены зрели в глубинах земли, они вырвались на свет так яростно и внезапно, что в считанные годы преобразили лик жизни. Уже давным-давно я предрекал неотвратимость и размах этих перемен. Напрасный труд. Я встречал только осуждение: в моих предсказаниях видели одно лишь неумное стремление удивить. Событиям нужно было разразиться во всей их внутренней неприглядности, чтобы злые языки умолкли. Вот перед нами новая жизнь... Но нет, она еще не наступила. Перемены окажутся гораздо более значительными, чем

те, которые мы наблюдаем, и проникнут в такие глубины человеческой жизни, что я, наученный прошлым опытом, не склонен делиться всеми своими предчувствиями. Что телку нагонять страх, не убеждая; ведь страх рождается от непонимания, вернее, от превратного понимания.

Итак, перед нами еще одна волна нового времени; кто хочет спастись, должен взмыть на ее гребне. Кто окажет сопротивление, не захочет понять нового облика жизни, неотвратимо будет смыт отхлынувшей волной прошлого, в любом случае и в любом смысле: в

работе, если он ученый или художник, в любви, если он сентиментален, в политике, если он честолюбив.

Нам нужно было впервые затронуть тему поколений. Но вышесказанное действительно было только первым прикосновением, внешней стороной этого гигантского и глубокого явления, я которому мы приблизимся более решительно и смело, когда настанет пора пальпировать то, что мы так учтиво и бестрепетно, ибо не ведаем, что говорим, зовем "нашей жизнью".

Но сейчас речь идет о том, чтобы выявить самые непосредственные причины, вызвавшие отступление и упадок философского духа в последние шестьдесят лет XIX в., и те, которые, наоборот, способствовали его сегодняшнему распространению и расцвету.

Заметьте, что любая наука или знание имеют свой предмет - то, о чем эта наука знает нечто или пытается узнать, - вдобавок ей присущ определенный метод познания того, что она знает. Так, предмет математики - числа и пространство - отличается от

предмета биологии - органических явлений. Но математика, кроме того, отличается от биологии как метод познания, как вид знания. Для математика знать и познавать значит думать вывести теорему посредством строгих суждений, основанных в конечном счете на бесспорных фактах. Биология, напротив, довольствуется приблизительными обобщениями неточных [фактов, о которых мы узнаем с помощью чувств. Поэтому как [метод познания обе науки отличаются по рангу: математический почитают за образец, биологический в целом считают незрелым. Но математика, в

свою очередь, имеет тот недостаток, что объекты, к которым применима ее теория, не реальные, а по словам Декарта и Лейбница, "мнимые". Но вот в XVI в. появляется новая научная дисциплина - *nuova scienza* Галилея, которая, с одной стороны, обладает дедуктивной строгостью математики, а с другой - повествует о реальных предметах, о светилах и вообще о телах. В хронике развития мысли такое засвидетельствовано впервые; впервые появилось знание, полученное путем строгой дедукции и вместе с тем подтвержденное чувственным наблюдением фактов, т. е. подчиняющееся двойному

критерию достоверности: чистому рассуждению, с помощью которого мы думаем прийти к некоторым заключениям, и простому восприятию, подтверждающему эти чисто теоретические выводы.

Нерасторжимый союз двух критериев привел к появлению так называемого экспериментального метода познания, характерного для физики. Неудивительно, что наука, наделенная такими счастливыми свойствами, сразу же стала выделяться сред других наук, привлекая лучшие умы. Даже с исключительно теоретической точки зрения как чистая теория или точное

знание физика, несомненно, является чудом разума. Однако вскоре ни для кого не осталось тайной, что дедуктивные выводы рациональной физики и чувственные наблюдения, полученные в ходе эксперимента, совпадают не точно, а только приблизительно. Правда, это расхождение было не настолько велико, чтобы помешать практическому развитию науки.

Конечно же, эти две особенности физического знания: практическая точность и подтверждение этого знания при помощи чувственно воспринимаемых фактов (не забывайте о том впечатляющем

обстоятельстве, что звезды, будто подчиняясь законам, предписанным им астрономами, с редким усердием спешат на свидание друг к другу в такой-то час и в такой-то точке огромного небосклона), я повторяю, эти две особенности не могли бы сами по себе обеспечить последующий невиданный триумф физики. Этот метод познания беспредельно прославила третья особенность. Оказалось, что физические истины, помимо их теоретических достоинств, могут употребляться для получения житейской пользы. Опираясь на них, человек мог вмешиваться в природу,

извлекая из нее выгоду. Эта третья особенность практическая пригодность, обеспечивающая господство над материей. уже не относится к достоинству и совершенству физики как теории и знания. В Греции это изобилие практических возможностей не приобрело бы решительного влияния на души но в Европе оно совпало с господством так называемого буржуа, человека того типа, который не чувствует призвания к теоретическому созерцанию, а нацелен на практику. Буржуа желает разместиться в мире с удобствами и для этого вторгается в него,

сообразуясь с собственным удовольствием. Поэтому буржуазная эпоха гордится в первую очередь успехами индустриализации и вообще полезными для жизни специальностями: медициной, экономикой, управлением. Физика приобрела невиданный престиж, потому что от нее произошли машина и медицина. Интерес, проявленный к ней массой средних людей, не плод наручной любознательности, а материальный интерес. В подобной атмосфере и зародилось то, что можно было бы назвать "империализмом физики".

Нам, рожденным в воспитанном в эпоху подобных настроений, представляется весьма естественным, самым естественным и разумным, что предпочтение отдается тому методу познания, который независимо от своих теоретических достоинств приносит нам практическое господство над материей. Хотя мы рождены и воспитаны в эту эпоху, однако вступаем в новый цикл, раз не довольствуемся первым впечатлением, в свете которого практическая польза, естественно, принимается за эталон истины. Напротив, мы начинаем

догадываться, что это стремление властвовать над материей и делать ее удобной, этот восторг перед комфортом, возведенным в принцип, столь же спорен, как и любой другой. Встревоженные этим подозрением, мы начинаем понимать, что комфорт не более чем субъективное пристрастие, *grosso modo*, каприз западного человечества, длящийся уже 200 лет, но сам по себе никак не свидетельствующий о каком-либо превосходстве. Есть люди, предпочитающие комфорт всему остальному; есть люди, не придающие ему большого значения. Когда Платон предавался

размышлениям, без которых ив
появилась бы современная физика, а
вместе с ней и комфорт, он, как и все
греки, вел очень суровую жизнь, а
что до удобств, средств
передвижения, отопления и
домашней утвари - совершенно
варварскую. В то же время китайцы,
никогда не занимавшиеся научным
мышлением, не разработавшие ни
одной теории, вырабатывали
чудесные ткани, создавали предметы
быта, сооружали приспособления,
служащие утонченному комфорту.
Пока в Афинах, в Академии Платона,
изобретали чистую математику, в
Пекине изобрели носовой платок.

Итак, очевидно, что страсть к комфорту, последний довод в пользу предпочтения, отдаваемого физике, не служит свидетельством превосходства. В одни времена это понимали, а в другие - нет. Всякий, кто научился смотреть на наше время сколько-нибудь проницательно, может предвидеть, что восторги по поводу императива удобств постепенно утихнут. Ими будут пользоваться, им будут уделять внимание, будут заботиться об их сохранении и совершенствовании, но не в качестве самоцели и наверняка без энтузиазма, а просто чтобы избежать неудобств.

Поскольку стремление к комфорту не всегда сопутствует прогрессу, а как бы разбросано наугад по самым различным эпохам, то любопытным было бы интересно выяснить, в чем же они совпадают; или, иными словами, какие условия человеческой жизни обычно порождают эту страсть к удобствам. Не знаю, каким оказался бы результат этого исследования.

Только подчеркну мимоходом одно совпадение: самое большое внимание комфорту в истории уделялось дважды - в Европе в последние двести лет и в китайской

цивилизации. Что общего между двумя такими равными, такими непохожими человеческими мирами? Насколько мне известно, только одно: в Европе тогда царил "добрый буржуа", тип человека, воплощающего стремление к прозе, а с другой стороны, китайцы слынут прирожденными филистерами; хотя я сказал это небрежно, не претендуя на точность.

Именно этот смысл познания выразил философ буржуазии Огюст Копт в своей известной формулировке: Science, d'ou prevoiance; prevoiance, d'ou action*. То есть смысл знания в предвидении,

а смысл предвидения в обеспечении действия. Из чего следует, что истинность познания определяется действием - разумеется, успешным. И в самом деле, уже в конце прошлого века великий физик Больцман сказал: "Ни логика, ни философия, ни метафизика в конечном счете не решают вопроса об истинности или ложности, его решает только действие. По этой причине я считаю технические достижения не просто вторичным следствием естественных наук, а их логическим доказательством. Без этих практических достижений мы не знали бы, как вам рассуждать.

Наиболее корректны те рассуждения, что имеют практический результат". В своей "Речи о позитивном разуме" сам Конт уже подсказывает, что техника управляет наукой, а не наоборот. Итак, в соответствии с этой точкой зрения, польза не есть непредвиденное следствие, полученное как бы в придачу к истине, а наоборот, истина есть интеллектуальное следствие практической пользы. Прошло немного времени, и на варе нашего века из этих идей родилась философия: прагматизм. С обаятельным цинизмом, свойственным "янки", как и любому

новому народу, североамериканский прагматизм отважно провозгласил тезис: "Нет истины кроме практического успеха". И с этим тезисом, столь же смелым, сколь и наивным, столь наивно смелым, северная часть американского континента вступила в тысячелетнюю историю философии.

Не следует путать низкую оценку прагматизма как философии в общего положения с предвзятым беспочвенным и ханжеским презрением к факту человеческого практицизма в пользу чистой созерцательности. Здесь мы намерены свернуть шею всякому

ханжеству, включая ханжество в науке и культуре, которое впадает в экстаз перед чистым знанием, не задавая о нем драматических вопросов. В этом наше существенное отличие от античных мыслителей - как от Платона, так и от Аристотеля, - которое должно стать одной из серьезнейших тем нашего размышления. Возвращаясь к ключевой проблеме, т. е. определению "нашей жизни", мы попытаемся смело вскрыть эту вечную двойственность, делящую жизнь созерцательную и жизнь деятельную, на действие и созерцание, на Марфу и Марию.

Теперь же мы только намерены показать, что имперский триумф физики объясняется не столько ее достоинствами как науки, сколько социальными причинами. Общество заинтересовалось обильными плодами физики, и в результате этого общественного интереса самомнение физиков за последние сто лет непомерно выросло. С ними в общих чертах произошло то же, что и с врачами. Никому не придет в голову считать медицину образцом пауки; однако то благоговение, которое испытывают перед врачом, как раньше перед колдуном, в домах, где имеется больной, внушает ему

уверенность в себе и в своем занятии, дерзкую смелость, настолько же привлекательную, насколько мало основанную на разуме, ибо врач пользуется, манипулирует результатами различных наук, но обыкновенно вовсе не является ученым, теоретиком.

Благосклонность судьбы, общественное признание, как правило, сбивают нас с пути, рождают в нас тщеславие и агрессивность. Подобное случилось с физикой, и в результате почти столетие духовная жизнь Европы

страдала от того, что можно было бы назвать "терроризмом лабораторий".

Философы, подавленные этим превосходством, стыдились быть философами, вернее, устыдились не быть физиками. Поскольку истинно философские проблемы не могут быть решены методами физики, они отказались от попыток их решить, отказались от философии, сведя ее к минимуму, униженно поставив на службу физике. Они решили, что единственной философской темой является размышление над самим фактом физики, что философия не более чем теория познания. Кант первым решительно встает на эту

позицию, открыто пренебрегая великими космическими проблемами; жестом уличного регулировщика он перекрывает движение философии - двадцать шесть веков метафизического мышления - со словами: "Всякая философия отменяется вплоть до ответа на вопрос: „Как возможны синтетические априорные суждения?". Итак, синтетические априорные суждения представляются ему физикой, фактом физико-математической науки.

Но подобная постановка вопроса не имела никакого отношения к теории познания. Она исходила из уже

готового физического знания и не спрашивала: "Что такое познание?",

Лекция III

["Тема нашего времени." - "Наука" - это чистый символизм. - Мятеж наук. - Почему существует философия? - Точность науки и философское знание.]

В прошлый раз мы едва шагнули на порог того, что я намеревался изложить в ходе лекции. Я хотел назвать непосредственные, хотя заведомо не дающие исчерпывающего объяснения, причины того, почему сто лет назад

философский дух ослаб и отступил, а сегодня, напротив, он вновь обретает силы. Мне хватило времени только на первый пункт. Философия была растоптана, унижена империализмом физики и запугана интеллектуальным терроризмом лабораторий. Повсюду царили естественные науки, а окружение - одна из составных частей нашей личности, как атмосферное давление - один из факторов, влияющих на нашу физическую форму. Не испытывая давления и ограничений, мы доросли бы до звезд, как мечтал Гораций, т. е. стали бы бесформенными, неопределенными

и безличными. Каждый из нас наполовину то, что он есть, а наполовину - окружение, в котором он живет. Когда последнее совпадает со свойствами нашего характера, благоприятствует им, то наша личность реализуется полностью; одобрение ее внешних проявлений побуждает ее к развитию внутренних сил. Враждебное окружение, поскольку оно и внутри нас, толкает нас на сопротивление и ведет к постоянному разладу, угнетает, препятствует развитию и полному расцвету нашей личности. Это и произошло с философами в атмосфере тирании

экспериментальных "советов". Нет нужды говорить, что ни одно из моих высказываний, которые порой звучат слишком резко, не означает ни морального, ни интеллектуального осуждения ученых и философов тех лет. Они были такими, какими должны были быть, и замечательно, что они были такими. Новая философия многими своими качествами обязана этому этапу вынужденных унижений, подобно еврейской душе, ставшей тоньше и интересней после вавилонского плена. В частности, мы еще убедимся в том, что сегодня, после того как философы с краской

мучительного стыда сносили презрение ученых, бросавших им в лицо, что философия не наука, нам - по крайней мере мне - нравится в ответ на это оскорбление заявлять: да, философия не наука, ибо она нечто гораздо большее.

Теперь следует выяснить, почему к философам вернулся энтузиазм, уверенность в смысле своего труда и решительный вид, который выдает в нас философов без страха и упрека, словом, философов гордых, жизнерадостных и отважных.

Этой мутации, на мой взгляд, способствовали два важных события.

Мы уже видели, что едва ли не вся философия была сведена к теории познания. Так называлась большая часть философских книг, опубликованных между 1860 и 1920 гг. И я отметил любопытнейшую вещь: в книгах с подобным названием никогда по-настоящему не ставился вопрос: "Что такое познание?" Так как это по меньшей, да и по большей мере странно, рассмотрим один из случаев избирательной слепоты, возникающей у человека под давлением окружающей среды и навязывающей как очевидные и бесспорные именно те

предположения, которые в первую очередь следовало бы обсудить. Эта слепота в разные эпохи бывает разной, однако всегда присутствует, и мы не являемся исключением. Ее причинами мы займемся позднее, когда увидим, что жизнь всегда осуществляется на основе или исходя из определенных предположений, служащих как бы почвой, на которую мы опираемся или в которой мы исходим, чтобы жить. И это во всех сферах: как в науке, так и в морали, политике и искусстве. Всякая идея мыслится и всякая картина пишется на основе определенных допущений или убеждений, которые настолько

присущи, настолько свойственны автору этой идеи или картины, что он их вообще не замечает и потому не вводит ни в свою идею, ни в картину; и мы находим их там не положенными, а времяположенными и как бы оставленными позади. Поэтому мы иногда не понимаем какой-нибудь идеи или картины, у нас нет отгадки, ключа к скрытому в ней убеждению. И так как, повторяю, каждая эпоха, - точнее, каждое поколение - исходит из более или менее различных предположений, то я хочу сказать, что система истин, как и система эстетических, моральных, политических и

религиозных ценностей, неизбежно имеет историческое измерение; они связаны с определенной хронологией человеческой жизни, годятся для определенных людей, не более. Истина исторична. Тогда встает решающий вопрос: как же истина может и должна претендовать на внеисторичность, безотносительность, абсолютность? Многие из вас уже знают, что для меня возможное решение этой проблемы составляет "тему нашего времени".

Восемьдесят лет назад бесспорное и неоспоримое предположение, вошедшее в плоть и кровь тогдашних

мыслителей, звучало так: *sensu stricto*, нет иного знания о мире, чем то, которое дает нам физическая наука, и нет иной истины о реальности, кроме "физической истины". В прошлый раз мы намекали на возможность существования других видов "истины", честно признав за "физической истиной" - даже при взгляде со стороны - два превосходных качества: точность и подчинение двойному критерию достоверности: рациональной дедукции и чувственному подтверждению. Однако эти качества, как бы хороши они ни

были, не могут сами по себе уверить нас в том, что нет более совершенного знания о мире, более высокого "типа истины", чем физика и физическая истина. Для утверждения этой мысли потребовалось бы развернуть во всем его объеме вопрос: чем окажется то, что мы назвали бы образцовым знанием, прототипом истины, если бы мы извлекли точный смысл слова "познавать"? Только выяснив до конца значение слова "познание", мы увидим, заполняют ли знания, которыми владеет человек, это значение во всем объеме или же только приближаются к нему. Пока

это не сделано, нельзя говорить всерьез о теории познания; в самом деле, хотя философия последних лет претендовала на то, чтобы быть только такой теорией, она, оказывается, вовсе не была ею.

Тем временем физика развивалась и за последние полвека настолько усовершенствовалась и расширилась, достигла такой высокой точности в такой гигантской области исследования, что появилась необходимость в пересмотре ее принципов. Это говорится для тех, кто простодушно думает, что изменение доктринальной системы указывает на слабость науки. Истина

заклучается в обратном. Невиданное развитие физики объясняется правильностью принципов, выдвинутых Галилеем и Ньютоном, и это развитие достигло предела, вызвав потребность в расширении этих принципов путем их очищения. Это повлекло за собой "кризис принципов" - счастливую болезнь роста, переживаемую сегодня физикой. Мне не известно, почему, слово "кризис" обычно наводит на невеселые мысли; кризис есть не что иное, как глубокое и интенсивное изменение; оно может быть изменением к худшему, но также и к лучшему, как в случае с нынешним

кризисом физики. Нет более верного признака зрелости науки, чем кризис принципов. Он означает, что наука настолько уверена в себе, что может позволить себе роскошь решительно пересмотреть свои принципы, т. е. потребовать от них большей убедительности и твердости.

Интеллектуальная сила как человека, так и науки измеряется той долей скептицизма, сомнения, которую он способен переварить, усвоить.

Здоровая теория питается сомнением, без колебаний нет настоящей уверенности; речь идет не о наивной доверчивости, а скорее о твердости среди бури, об

уверенности в неуверенности.
Разумеется, в конечном счете именно уверенность побеждает сомнение и служит мерилom интеллектуальной сипы. И наоборот, неуправляемое сомнение, необдуманное недоверие называется... "неврастенией".

В основе физики лежат физические принципы, на которые опирается исследователь. Но чтобы пересмотреть их, нельзя оставаться внутри физики, необходимо выйти за ее пределы. Поэтому физикам пришлось заняться философией науки, и в этом отношении самым показательным сегодня является пристрастие физиков к философии.

Начиная с Пуанкаре, Маха и Дюгема и кончая Эйнштейном и Вейлем со всеми их учениками и последователями, теория физического познания развивалась усилиями самих физиков.

Разумеется, все они испытали большое влияние философского прошлого, однако этот случай любопытен тем, что пока сами философы курили фимиам физике как теории познания, сами физики в своей теории пришли к выводу, что физика - низшая форма познания, а именно символическое знание.

Директор курзала, пересчитав вешалки в гардеробе, таким

способом определяет, сколько пальто и курток на них висит, и благодаря этому приблизительно знает, сколько людей пришло повеселиться, хотя он их и в глаза не видел. а если сравнить содержание физики с богатством вещественного мира, мы не найдем между ними даже сходства. Перед нами как бы два разных языка, едва допускающих перевод с одного на другой. Физика всего лишь символическое соответствие.

Откуда мы это знаем? Потому что существует множество столько возможных соответствий, как и множество самых различных форм упорядочения предметов.

По поводу одного торжественного случая Эйнштейн в следующих словах подытожил ситуацию физики как метода познания (1918 г., речь на семидесятилетии Макса Планка): "В ходе развития нашей науки стало ясно, что среди возможных теоретических построений всегда есть одно, решительно демонстрирующее свое превосходство над другими. Никто из тех, кто хорошо знаком с этим вопросом, не станет отрицать, что мир наших восприятия практически безошибочно определяет, какую теоретическую систему следует предпочесть. Тем не менее нет

никакого логического пути, ведущего к теоретическим принципам".

То есть многие теории в равной степени адекватны, и, строго говоря, превосходство одной из них объясняется чисто практическими причинами. Факты подсказывают теорию, но не навязывают ее.

Только в определенных точках доктринальный корпус физики соприкасается с реальностью природы - в экспериментах. И его можно варьировать в тех пределах, при которых эти точки соприкосновения сохраняются. А эксперимент представляет собой

манипуляцию, посредством которой мы вмешиваемся, в природу, принуждая ее к ответу. Однако эксперимент раскрывает нам не саму природу как она есть, а только ее определенную реакцию" на ваше определенное вмешательство. Следовательно, так называемая физическая реальность - и это мне важно формально выделить - реальность зависимая, а не абсолютная квазиреальность, вот она обусловлена человеком и связана с ним. Короче, физик называет реальностью то, что происходит в результате его манипуляций. Эта

реальность существует только как функция последних.

Итак, философия ищет в качестве реальности именно то, что обладает независимостью от наших действий, не зависит от них; напротив, последние зависят от этой полной реальности.

Стыдно, что после стольких усилий, потраченных философами на разработку теории познания, физикам пришлось самим заняться окончательным уточнением характера своего знания и показать нам, что оно, строго говоря, является низшей разновидностью теории,

удаленной от предмета своего исследования, а вовсе не образцом и прототипом знания.

Итак, оказывается, что частные науки, особенно физика, преуспевают, превратив собственные ограничения в творческий принцип своих концепций. Таким образом, стремясь к совершенству, они не лезут понапрасну вон из кожи, пытаясь вырваться за установленные природой границы, а, напротив, охотно их признают и, уверенно разместившись в них, добиваются совершенства. В прошлом веке преобладали иные настроения: тогда все поголовно мечтали о

безграничности, стремились уподобиться другим, не быть собой. Это был век, когда музыка Вагнера, не довольствуясь ролью музыки, хотела занять место философии и даже религии; это был век, когда физика хотела стать метафизикой, философия - физикой, а поэзия - живописью и музыкой; политика уже не желала оставаться только политикой, а мечтала сделаться религиозным кредо и - что уж совсем нелепо - сделать людей счастливыми.

Не свидетельствует ли новая линия поведения наук, предпочитающих ограничиться своей замкнутой сферой, о новой восприимчивости

человека, с помощью которой он пытается решить проблему жизни иным путем, когда каждое существо и каждое занятие принимает свою судьбу, погружаясь в нее, и, вместо того чтобы в призрачном порыве выплескиваться через край, надежно без остатка заполняет свои подлинные неповторимые формы. Отложим этот едва затронутый нами вопрос до следующего раза, когда мы столкнемся с ним лицом к лицу.

Между тем это недавнее ущемление физики как теории повлияло на состояние духа философов, получивших возможность свободно следовать своему призванию. С

низвержением идола эксперимента и возвращением физического знания на свою скромную орбиту разум открылся другим способам познания, а восприимчивость - подлинно философским проблемам.

При этом заслуги физики ничуть не умаляются, напротив, подтверждается ее поразительная надежность и истинная плодотворность. Осознавая свою научную мощь, физика сегодня презрительно отвергает мистические преимущества, обернувшиеся обманом. Она отдает себе отчет в том, что является только символическим знанием, и этого ей

достаточно; в этих границах с ней происходят самые удивительные и самые драматические вещи в мире. Если бы Европа и впрямь была цивилизованной - что на деле весьма далеко от истины, - толпы людей собирались бы на площадях перед агентствами новостей, чтобы изо дня в день следить, за состоянием, физических исследований. Ибо сегодняшняя ситуация несет в себе такой творческий заряд, так близка к фантастическим открытиям, что можно без всякого преувеличения предсказать, что мы стоим на пороге новой космической эры и наше представление о материальном мире

вскоре станет совершенно иным. И эта ситуация настолько назрела, что ни я, ни слушающие меня известные физики не могли бы сказать, не блеснула ли в этот момент в чьей-нибудь голове в Германии или Англии новая колоссальная идея.

Теперь мы видим, что наша капитуляция перед так называемой "научной истиной", т. е. видом истины, присущим физике и родственным наукам, оказалась предрассудком.

Но освобождению способствовало еще одно очень важное событие.

Припомните, что вышесказанное могло быть сформулировано так: каждая наука признает свои границы и на их основе вырабатывает свой позитивный метод. Событие, которое я сейчас коротко обрисую, еще один шаг в этом направлении: каждая наука приобретает независимость от остальных, т. е. не подчиняется их юрисдикции.

Новая физика и здесь дает нам наиболее ясный и известный пример. Галилей видел задачу физики в открытии специальных законов поведения тел "в придачу к общим геометрическим законам". Ему ни на

миг не приходило в голову
усомниться в господстве этих
законов над телесными явлениями.
Поэтому он не стал производить
опытов, доказывающих, что природа
подчиняется евклидовым теоремам.
Он заранее допустил как нечто
самоочевидное и обязательное
высшую юрисдикцию геометрии над
физикой; если сказать то же самое
иными словами, считал
геометрические законы законами
физическими, или в высшей
степени. Самым гениальным в труде
Эйнштейна мне представляется
решительность, с которой он
избавляется от традиционного

предрассудка; заметив несоответствие наблюдаемых явлений закону Евклида, он оказывается перед конфликтом юрисдикции геометрии и чистой физики и, не колеблясь, объявляет последнюю независимой. Сравнивая его решение с решением Лоренца, мы находим у них противоположный склад ума. Чтобы объяснить эксперимент Майкельсона, Лоренц в русле традиции решает приспособить физику к геометрии. Чтобы геометрическое пространство не меняло своих свойств, тело должно сокращаться. Эйнштейн, напротив, решает приспособить

геометрию и пространство к физике и телесным объектам.

Аналогичные ситуации так часто наблюдаются в других науках, что остается недоумевать, почему столь явная и характерная черта современного мышления не привлекла ничьего внимания.

Учение о рефлексах Павлова и теория цветового зрения Геринга являются классическими современными примерами построения физиологии, независимой от физики и психологии. С помощью чисто физиологических методов

исследования в них рассматриваются биологические явления как таковые в их отличия от свойств, общих для физических или психологических фактов.

Но особенно остро, почти скандально этот новый научный темперамент проявляется в математике. Ее зависимость от логики на памяти последних поколений превратилась почти в тождество. И тут голландец Броуэр приходит к открытию, что логическая аксиома так называемого "исключенного третьего" непригодна для математической реальности и следует создать математику "без

логики", верную одной себе и неподвластную чужим аксиомам.

Теперь, отметив эту тенденцию нового мышления, мы не должны удивляться появлению теологии, восставшей против юрисдикции философии. Ибо до недавнего времени теология стремилась приспособить истину откровения к философскому разуму, пыталась примирить его с безрассудством таинства. Однако новая "диалектическая теология" решительно порывает с этой допотопной практикой и объявляет знание о Боге самостоятельным и "полностью" независимым. Таким

образом, в корне меняется деятельность теолога, который занимался преимущественно тем, что выводил истину откровения из человека и его научных норм, следовательно, говорил о Боге, исходя из человека. В результате получалась антропоцентрическая теология. Однако Барт и его коллеги вывернули эту процедуру наизнанку и разработали теоцентрическую теологию. Человек по определению не может знать ничего о Боге, исходя из самого себя и своего внутричеловеческого разума. Он только рецептор того знания, которым обладает о себе Бог, и

которое он по крупицам шлет через откровение человеку. У теолога нет иного занятия, чем, обратившись в слух, чутко внимать истине, принадлежащей Богу, истине божественной, несоизмеримой с человеческой истиной и, следовательно, независимой. В такой форме теология не подчиняется юрисдикции философии. Это изменение особо знаменательно тем, что произошло в лоне протестантизма, где гуманизация теологии, ее причастность к философии были развиты значительно сильнее, чем у католиков.

Итак, сегодня в науке господствует настроение, диаметрально противоположное тому, что было тридцать или сорок лет назад. Тогда то одна, то другая наука пытались повелевать остальными, распространить на них свой собственный метод, а остальные униженно терпели это нашествие. Сейчас каждая наука не только мирится со своими врожденными недостатками, но и решительно не желает жить по чужим законам .

Таковы наиболее существенные черты интеллектуального стиля, появившегося в последние годы. На

мой взгляд, они могут положить начало великой эпохе в человеческом познании. С единственным условием. Нельзя, чтобы науки сохраняли свою замкнутость и независимость. Не отрекаясь от своих завоеваний, они должны установить взаимные связи, не означающие подчинения. А этого, именно этого можно добиться единственным способом: вернувшись на твердую почву философии. Верный признак движения к новой систематизации налицо: в поисках решения своих научных проблем ученым все чаще

приходится погружаться в глубины философии.

Однако мой теперешний предмет не позволяет отвлекаться на размышления о будущем науки, а беглый очерк ее настоящего помог мне обрисовать состояние интеллектуальной атмосферы, которое, преодолев упадок последнего столетия, способствовало возвращению к большой философии. В новых общественных условиях философ черпает решимость обрести независимость, признав положенные ему судьбой пределы.

Но существует и более глубокая причина возрождения философии. Решимость каждой науки признать свои границы и провозгласить независимость есть только отрицательное условие преодоления препятствий, в течение столетия мешавших развитию философии, однако не эта решимость питала философию и не она объективно способствовала ее развитию.

Тогда почему человек вернулся к философии? Почему склонность к ней снова стала считаться нормальной? Очевидно, возвращение к какой-либо вещи происходит по

той же причине, по которой к ней обратились впервые. В противном случае возвращению недостает искренности, это фальшивое возвращение, притворство.

Поэтому мы должны поставить вопрос о том, почему человеку вообще приходит в голову заниматься философией.

Почему у человека - вчера, сегодня и завтра - возникает желание философствовать? Нужно лучше разобраться в том, что скрывается за привычным словом "философия", чтобы затем ответить на вопрос, "почему" люди философствуют.

В этой новой перспективе наша наука вновь обретает черты, свойственные ей во времена расцвета, хотя в процессе развития мышления некоторые из них приняли новую, более строгую форму. Что представляет собой на наш взгляд возрожденная философия?

Я собираюсь ответить на этот вопрос, выделив ряд ее признаков, через определение которых я постепенно, день за днем буду раскрывать общий смысл понятия.

Первым на ум приходит определение философии как познания Универсума. Однако это

определение, хотя оно и верно, может увести нас в сторону от всего того, что ее отличает: от присущего ей драматизма и атмосферы интеллектуального героизма, в которой живет философия и только философия. В самом деле это определение представляется возможному определению физики как познания материи. Но дело в том, что физика сначала очерчивает границы последней и только затем берется за дело, пытаясь понять ее внутреннюю структуру. Математик также дает отделение числу и пространству, т. е. все частные наука стараются сначала застолбить

участок Универсума, ограничивая проблему, которая при подобном ограничении частично перестает быть проблемой. Иными словами, физику и математику заранее известные границы и основные атрибуты их объекта, поэтому они начинают не с проблемы, а с того, что выдается или принимается за известное. Но что такое Универсум, на розыски которого, подобно аргонавту, смело отправляется философ, неизвестно. Универсум - это огромное и монолитное слово, которое, подобно неопределенному, широкому жесту, скорее затемняет, чем раскрывает это строгое понятие:

все имеющееся. Для начала это и есть Универсум Именно это - запомните хорошенько - и не что иное, ибо когда мы мыслим понятие "все имеющееся", нам неизвестно, что это такое; мы мыслим только отрицательное понятие, а именно отрицание того, что было бы только частью, куском, фрагментом. Итак философ в отличие от любого другого ученого берется за то, что само по себе неизвестно. Нам более или менее известно, что такое часть, доля, осколок Универсума. По отношению к объекту своего исследования философ занимает совершенно особую позицию,

философ не знает, каков его объект, ему известно о нем только следующее: во-первых, что это не один из остальных объектов; во-вторых, что это целостный объект, что это подлинное целое, не оставляющее ничего вовне себя и тем самым единственно самодостаточное целое. Но как раз ни один из известных или воображаемых объектов этим свойством не обладает. Итак, Универсум - это то, чего мы по существу не знаем, что нам абсолютно неизвестно в своем положительном содержании.

Совершая следующий круг, можно сказать: другим наукам их объем

дается, а объект философии как таковой - это именно то, что не может быть дано; поскольку это целое нам не дано, оно в самом существенном смысле должно быть искомым, постоянно искомом. Нет ничего удивительного в том, что наука, которая должна начинать с поисков своего объекта, т. е. которая проблематична даже по своему предмету и объекту, по сравнению с другими науками ведет менее спокойную жизнь и не может наслаждаться тем, что Кант называл достоверным шагом. Философия, исповедующая чистый теоретический героизм, никогда не

шла этим надежным, спокойным и буржуазным путем. Как и ее объект, она являемся универсальной и абсолютной наукой, ищущей себя. Так назвав ее первый знаток нашей дисциплины Аристотель: философия - наука, которая себя ищет.

Однако в вышеприведенном определении "философия - это познание Универсума", слово "познание" имеет иное значение. чем в прочих научных дисциплинах. Познание в строгом, изначальном смысле - это конкретное позитивное решение проблемы, т. е. совершенное проникновение субъекта в объект с помощью разума. Итак, будь

познание только этим, философия не могла бы претендовать на свою роль. Вообразите, что нам в нашей философии удалось доказать, что конечная реальность вселенной конституирована абсолютно своенравной, авантюрной и иррациональной волей, - в действительности это считал своим открытием Шопенгауэр. Тогда не может быть и речи о полном проникновении субъекта в объект, ибо иррациональная реальность будет непроницаема для разума, однако никто не сомневается, что это безупречная философия, не хуже других, для которых бытие в целом

прозрачно для мысли и покорно
разуму - основная идея всего
рационализма.

Тем не менее мы должны сохранить
смысл термина "познание" и заявить,
что если и в самом деле он
преимущественно означает полное
проникновение мысли в Универсум,
то можно установить шкалу
ценностей познания в соответствии с
большим или меньшим
приближением к этому идеалу.
Философия в первую очередь должна
определить максимальное значение
этого понятия, одновременно
оставив открытыми его более низкие
уровни, которые впоследствии

окажутся теми или иными методами познания. Поэтому я предлагаю, определяя философию как познание Универсума, понимать под этим целостную систему умственной деятельности, в которую систематически организуется стремление к абсолютному знанию. Итак, совокупность мыслей может стать философией при одном условии: реакция разума на Универсум должна быть такой же универсальной, целостной - короче, должна быть абсолютной системой.

Таким образом, от философии неотделимо требование занимать теоретическую позицию при

рассмотрении любой проблемы - не обязательно решать ее, но тогда убедительно доказывать невозможность ее решения. Этим философия отличается от других наук. Когда последние сталкиваются с неразрешимой проблемой, они просто отказываются от ее рассмотрения. Философия, напротив, с самого начала допускает возможность того, что мир сам по себе - неразрешимая проблема. И доказав это, мы получим философию в полном смысле слова, точно отвечающую предъявленным к ней требованиям.

Для прагматизма и всех так называемых "естественных" наук, неразрешимая проблема - не проблема, при этом неразрешимость понимается как неразрешимость с помощью заранее установленных методов. Следовательно, проблемой в них называется "то, что можно решить", а поскольку решение состоит из определенных манипуляций, - "то, что можно сделать". На деле прагматизм - это практицизм, подменивший собой любую теорию. Вспомните сформулированное -Пирсом определение прагматизма.) Но в то же время - это честная теория, в

которой выражен познавательный метод частных наук, хранящий следы практической деятельности, не стремящийся к чистому знанию и, следовательно, не признающий неограниченных проблем.

Спрашивается, откуда берется это влечение к Универсуму, к целостности мира, лежащее в основе философии? Это влечение, которое якобы отличает философию, есть просто-напросто врожденная и спонтанная жизнедеятельность нашего разума. Понимаем мы это или нет, когда мы живем, мы живем, стремясь к окружающему миру, полноту которого чувствуем или

предчувствуем. Человек науки - математик, физик - расчленяет эту целостность нашего жизненного мира и, отделяя от нее кусок, делает из него проблему. Если познание Универсума, или философия, не поставляет истин по образцу "научной истины", тем хуже для последней.

"Научную истину" отличают точность и строгость ее предсказаний. Однако эти прекрасные качества получены экспериментальной наукой в обмен на согласие не покидать плоскость вторичных проблем, не затрагивать конечные, решающие вопросы. Это

отречение возводится ею в главную добродетель, и нет нужды повторять, что только за это она заслуживает аплодисментов. Но экспериментальная наука - только ничтожная часть человеческой жизнедеятельности. Там, где она кончается, не кончается человек. Если физик, описывая факты, задержит руку там, где кончается его метод, то человек, живущий в каждом физике, волей-неволей продолжит начатую линию до конца, подобно тому как при виде разрушенной арки наш взгляд восстанавливает в пустоте недостающий изгиб.

Задача физики - отыскать начало каждого происходящего в данный момент события, т. е. предшествующее событие, его вызывающее. Но этому началу, в свою очередь, предшествует другое начало вплоть до первоначала. Физик отказывается искать это первоначало Универсума, и правильно делает. Но, повторяю, человек, живущий в каждом физике, не отказывается и волей-неволей устремляется душой к этой первой загадочной причине. Это естественно. Ведь жить - значит общаться с миром, обращаться к нему, действовать в нем, задумываться о нем. Поэтому

человек в силу психологической необходимости практически не может не стремиться обладать полным представлением о мире, целостной идеей Универсума. Этот выходящий за пределы науки облик мира - груб он или утончен, осознан или нет - проникает в душу каждого человека и начинает управлять нашим существованием гораздо успешнее научных истин. В прошлом веке хотели остановить человеческий разум там, где кончается точность. Это насилие, это игнорирование конечных проблем получило название агностицизма.

Подобное нельзя ни оправдать, ни извинить. Ибо неспособность экспериментальной науки своими силами решить главные вопросы еще не повод для того, чтобы, повторяя изящный жест лисы перед недосыгаемым виноградом, называть их "мифами", советуя от них отказаться. Как можно жить глухим к конечным, драматическим вопросам? Откуда пришел мир, куда идет? Какова в конечном счете потенция космоса? В чем главный смысл жизни? Мы задыхаемся, сосланные в зону промежуточных вторичных вопросов. Нам нужна полная перспектива, с передним и

задним планом, а не изуродованный пейзаж, не горизонт, лишенный манящего мерцания далей. Не зная стран света, можно сбиться с пути. И безразличие к конечным вопросам не оправдать ссылкой на то, что способ их решения не найден. Тем более мы должны в глубинах нашего бытия с болью прислушаться к их требовательному зову. Разве исчезает жажда знаний, если ее нельзя утолить? Пусть эти вопросы неразрешимы, они не исчезают, а с наступлением ночи приобретают особый драматизм в дрожащем свете звезд; ведь звезды, по словам Гейне, это тревожные мысли ночи,

сотканные из золота. Север и юг служат нам ориентирами, хоть это и не соседние города, куда можно съездить, купив, железнодорожный билет.

Этим я хочу сказать, что нам не дано отказываться от конечных вопросов: хотим мы того или нет, они проникнут в нас в том или ином обличье, "Научная истина" точна, однако это неполная, предпоследняя истина, она неизбежно сливается с другим видом истины - полной, последней, хотя и неточной, которую беззастенчиво называют мифом. Тогда научная истина плавает в мифологии, да и сама наука в целом

является мифом, великолепным европейским мифом.

[\[Приложение\]](#)

[Происхождение познания]

Если мы захотим узнать, откуда берется это стремление к Универсуму, к целостности мира, лежащее в основе философии, не стоит полагаться на Аристотеля. Ему этот вопрос представляется весьма простым, и он начинает свою "Метафизику" словами: "Все люди от природы стремятся к знанию". Подпадать - значит не довольствоваться проявлением

вещей, но искать за ними их "сущность". Странное свойство этой "сущности" вещей. Она присутствует в них не явно, а, напротив, скрыто пульсирует всегда где-то за ними, где-то "дальше". Аристотелю кажется "естественным", что мы задаемся вопросом об этом "дальше", хотя естественным было бы довольствоваться вещами, среди которых мы в основном проводим нашу жизнь. Сначала нам ровно ничего не известно об их "сущности". Нам даны только вещи, но не их сущность. Они даже не содержат никакого положительного указания на то, что за ними

скрывается их сущность. Очевидно, то, что "дальше" вещей, не находится внутри них.

Говорят, человеку от природы свойственно любопытство. Именно это имеет в виду Аристотель, когда на вопрос: "Почему человек стремится к познанию?", подобно мольеровскому врачу, отвечает: "Потому, что ему это свойственно от природы", - и продолжает: - "Доказательство тому - влечение к чувственным восприятиям", особенно к зрительным. Здесь Аристотель единодушен с Платоном, относившим ученых и философов к роду "друзей видения", из тех, кто

ходит на представления Однако видение противоположно познанию. "Видеть" - значит с помощью глаз обозреть то, что находится здесь, а познавать - значит искать то, что не находится здесь: сущность вещей Именно не довольствоваться тем, что можно видеть, а скорее, отрицать видимое как недостаточное и постулировать невидимое, существенное, что находится "дальше".

С помощью этого и множества других указаний, в изобилии содержащихся в его книгах, Аристотель разъясняет нам свою идею происхождения познания. По

его мнению, оно просто-напросто состоит в использовании или развитии некоторой имеющейся у человека способности, подобно тому как видение - это просто использование зрения. У нас есть чувства, у нас есть память в которой хранятся их данные, у нас есть опыт, в котором происходит отбор и отсев этой памяти. Все это - врожденные механизмы человеческого организма, которыми человек пользуется, хочет он того или нет. Однако все это не познание. Не являются им и другие способности, справедливо получившие название умственных, например отвлечение,

сопоставление, умозаключение и т.д. Ум, или совокупность всех этих способностей, которыми одарен человек, - это также полученный им механизм, несомненно в той или иной степени служащий познанию. Однако само познание не способность, не дар и не механизм, а, напротив, задача поставленная перед собой человеком. И задача, возможно, невыполнимая. До такой степени познание не инстинкт! Итак, очевидно что познание - не просто использование умственных способностей, ведь никто не говорит, что человеку удастся познать, а ясно одно: он прилагает тяжкие усилия к

познанию, задается вопросом о потустороннем мире сущностей и изнемогает в стремление к нему.

Истинный вопрос о происхождении познания всегда извращали подменяя исследованием его механизмов.

Чтобы пользоваться аппаратом, мало его иметь. Наши жилища полны бездействующих аппаратов, потому что они нас уже не занимают. У Хуана огромный талант к математике, но так как его привлекает литература, он не думает заниматься математикой. К тому же, как я отмечал ранее, у нас нет абсолютно никакой уверенности в том, что умственные способности

человека позволяют ему познавать. Если вслед за Аристотелем мы станем понимать под "природой" человека совокупность его телесных и мыслительных аппаратов и их функционирование, мы будем вынуждены признать познание не соответствующим этой "природе". Наоборот, используя все ее механизмы, он сталкивается с невозможностью во всей полноте осуществить то, что обозначено словом "познавать". Его цель его стремление к познанию выходят за пределы его дарований, тех средств, которыми он располагает. Он пускает в ход все свои орудия, но ни одно из

них, не все они, вместе взятые, все обеспечивают полного успеха. Итак, на деле оказывается, что" человек испытывает странное влечение к познанию, однако ему недостает дарований, того, что Аристотель называя его "природой".

Поэтому мы должны без всяких оговорок признать, что истинная природа человека шире в заключается в обладании не только - дарованиями, во и недостатками. Человек состоит из того, что у него есть, и того, "чего ему не хватает". Он долго и отчаянно пытается воспользоваться своими умственными способностями

непросто потому, что они у него есть, а потому, что испытывает потребность в том, чего у него нет, и, преследуя эту цель, конечно" использует имеющиеся в его распоряжении средства. Коренная ошибка всех теорий познания заключалась в игнорировании изначального несоответствия между потребностью человека в познании и теми "способностями", которые у него имеются. Один Платон догадывался, что корень познания, так сказать сама его' субстанция, лежит как раз в недостаточности полученных человеком дарований, которую подтверждает тот страшный

факт, что- человек "не знает".Ни Богу, ни животному это не свойственно. Бог знает все, и потому не познает. Животное не знает ничего, и потому тоже не познает. Но человек - это живая недостаточность, человек нуждается в знании, приходит в отчаяние от незнания. Именно это и следует рассмотреть. Почему человек страдает из-за своего невежества, как может болеть тот орган" которого у него никогда не было?

Лекция IV

[Познание Универсума и
Мультиверсума - Примат проблемы

над решение см. - Теоретические и практические проблемы. - Панлогизм и жизненны" разум.]

Этот философский курс в своем течении подобен реке Гвадиане, зародившись вдали отсюда, он исчезает в песках пустыни и, наконец, вновь пробивается на свет здесь. Из первой моей лекции в университете я вынес, - как обычно случается при пожарах и других неожиданных катастрофах, - лишь две вещи. Во-первых, название этого курса, во-вторых - я хотел бы еще раз об этом напомнить, - намерение не идти напрямик, а развивать свою" мысль, описывая все более узкие

круги, т. е. двигаясь по спирали. Благодаря атому мы можем и должны сначала поставить каждый вопрос в его самой простой и менее четкой, зато более доступной форме, не сомневаясь в том, что в одном из внутренних кругов мы неизбежно вновь подойдем к нему решительней и строже. Тогда все то, говорил я, что на первый взгляд кажется пустой фразой или банальностью, как бы по милости судьбы затем предстанет перед нами более зримо и веско.

Так вот, в прошлый раз мы завершили первый круг, теперь нам нужно предпринять то, что Платон назвал бы нашим вторым кругосветным

плаванием. Мы полагаем, что научная, физическая истина обладает замечательным достоинством - точностью, однако она неполна, неокончательна и несамодостаточна. Ее объект - это лишь часть, лишь осколок мира; к тому же она опирается на множество допущений, которые бездоказательно объявляются верными; следовательно, она не вытекает из самой себя, не заключает в себе своего основания и источника, не является исходной истиной. Поэтому в ней постулируется требование интеграции с другими нефизическими и ненаучными

истинами, которые были бы полными и действительно окончательными. Там, где кончается физика, не кончается проблема; человеку, живущему в каждом ученом, необходима целостная истина, и так уж устроена его жизнь, что волей-неволей он составляет представление о едином Универсуме. Перед нами открытое противостояние двух типов и истин: научной и философской. Первая точна, но недостаточна, вторая достаточна, но неточна. И получается, что эта веточная истина является более глубокой, и следовательно, истиной несомненно

более высокого ранга, - не только потому, что ее предмет шире, но и как метод познания; короче, менее точная философская истина более верна. Но это неудивительно.

Бездумная расхожая тенденция считать точность атрибутом, определяющим качество истины, не только совершенно неправомерна, но и бессмысленна. Точность может существовать лишь тогда, когда речь идет о количественных объектах.

Декарт говорит о том, что можно сосчитать и измерить. Строго говоря, это признак не истины как таковой, а некоторых определенных вещей Универсума, в конечном счете, -

только количества, в общем - материи. Истина может быть очень точной и тем не менее быть истиной лишь отчасти. Например, почти все физические законы имеют точное выражение, но так как они получены путем чисто статистических, т. е. вероятностных, подсчетов, они имеют только вероятностное значение. Происходит любопытное явление - эта серьезнейшая и наболевшая тема заслуживает отдельного рассмотрения: в соответствии с требованиями физики истина становится все более точной и в руках физиков становится системой чистых вероятностей,

следовательно, второсортных истин, полуистины. Осознание этого - одна из причин, побуждающих современных физиков, могущественных творцов новейшей космической панорамы, заняться философией, утвердить свою цеховую истину на основе более полной жизненной истины.

В прошлый раз мы впервые коснулись основного явления, явления всех явлений - "нашей жизни" и ее горизонта - мира. Это прикосновение было едва ощутимым в крайне неточным. Могло показаться, что это всего лишь неясный поэтический или

эмоциональный порыв. Однако мы почувствовали, в каком направлении "будем двигаться дальше.

Пятьдесят лет назад философия смела мечтать лишь о том, чтобы служить дополнением к научным дисциплинам. Когда но последние в своем развитии достигли того предела, где уже не могли получать очевидных истин, бедняжке философии, этой служанке на все, было поручено выполнить эту работу с помощью нескольких многозначительных неопределенностей. Человек заключал себя в границы физики, а когда ее владения кончались,

философ как бы по инерции шел в том же направлении, в своих объяснениях повторяя приемы физики, хотя и за ее пределами. Эта физика, идущая дальше физики, была метафизикой и, стали быть, физикой вне собственных границ. (Такова все еще английская философия: Рассел и Уайтхед.)

Из сказанного выше ясно, что мы будем двигаться в противоположном направлении. Нужно, чтобы физик - а также метафизик, историк, художник или политик, - заметив ограниченность своей профессии, обратился к собственной глубинной сути. Тогда он поймет, что сам он не

физик, просто физика - одна из бесчисленных вещей, которыми в своей жизни занимается человек. В своей конечной сути физик оказывается просто человеком, человеческой жизнью. А человеческая жизнь имеет неотъемлемое свойство постоянно обращаться к миру в его единстве, к Универсуму. Еще не став физиком, он уже является человеком, а будучи им, задается вопросом об Универсуме, т. е. философствует - лучше или хуже, искусно или неумело, цивилизованно или по дикарски. Наш путь будет лежать не к тому, что за физикой. наоборот, мы вернемся от физики к

началам жизни и в них отыщем корень философии. Тогда это будет не метафизика, а до - физика. Она рождена самой жизнью, а как мы вскоре убедимся, последняя не может избежать, пусть самого простого, философствования. Поэтому первый ответ на наш первый вопрос: "Что кое философия?" мог бы звучать так: "Философия - это нечто... неизбежное".

В прошлый раз я обещал ответить на вопрос "Что такое философия?", перечислив ряд атрибутов, признаков и черт, помогающих наметить контуры философского мышления.

Но пришло время, великий жнец, и сжало мою лекцию еще в цвету, не дав искомому понятию созреть и принести плоды. Я был вынужден прервать ход моих мыслей в первом попавшемся месте и, уступая давлению времени, поставить точку.

Но если вы помните, мы лишь ступили на порог нашей темы. сегодня же нам нужно войти внутрь. Мы попытались определить философию как познание Универсума, но я немедленно предостерег вас от того, чтобы в это определение с его явной категоричностью не заслонило от нас все существенное и особенное в

умственной деятельности,
называемой философией. Строго
говоря, эта опасность исходит не от
самого определения, которое верно, а
от свойственной нам - особенно
народам с горячей' кровью - манеры
читать в слушать. За четверть века
занятий идеологией - мой возраст не
столь уж преклонен, просто я начал
публиковаться в 18 лет - я твердо
убедился, что представление
испанцев или аргентинцев о чтении
или слушании за редким
исключением сводится к тому, чтобы
скользить от непосредственного,
мгновенно. схваченного значения
одного слова к значению другого и от

поверхностного смысла одной фразы - к смыслу следующей. Но. так _ вне всякого сомнения - нельзя понять ни одного философского высказывания. Философию нельзя читать - нужно проделать нечто противоположное чтению, т. е. продумывать каждую фразу, а это значит дробить ее на отдельные слова, брать каждое из них и, не довольствуясь созерцанием его привлекательной наружности, проникать в него умом, погружаться в него, спускаться в глубины его значения, исследовать его анатомию и его границы, чтобы затем вновь выйти на поверхность, владея его сокровенной тайной. Если проделать

это со всеми словами фразы, то они уже не будут просто стоять друг за другом, а сплетутся в глубине самыми корнями идей, и только тогда действительно составят философскую фразу. От скользящего, горизонтального чтения от умственного катания на коньках нужно перейти к чтению вертикальному, к погружению в крохотную бездну каждого слова, к нырянию без скафандра в поисках сокровищ.

Таким образом, я постараюсь последовательно ввести вас. в каждый из терминов, составляющих данное выше определение. Сегодня,

чтобы продолжить траекторию наших рассуждений, нам нужно подытожить и по возможности подтвердить уже заявленное значительно его обогатив. Мне важно поступить так потому, что, насколько я знаю, мы предлагаем совершенно новый анализ, надеюсь, более строгий, чем предшествующие.

Итак, за работу. Универсум - это название объекта, проблемы для исследования которых родилась философия. Но этот объект, Универсум, настолько необычен, так глубоко отличается от всех остальных, что, конечно же, требует от философа совершенно иного

подхода, чем в других научных дисциплинах.

Формально я понимаю под Универсумом "все имеющееся". То есть философа интересует не каждая вещь сама по себе, в своем обособленном и, так сказать, отдельном существовании, - напротив его интересует совокупность всего существующего и, следовательно, в каждой вещи - то, что ее отделяет от других вещей или объединяет с ними: ее место, роль и разряд среди множества вещей, так сказать, публичная жизнь каждой вещи, то, что она собой представляет и чего стоит в высшей публичности

универсального существования. Мы понимаем под вещами не только. физические и духовные реалии, но также все ирреальное, идеальное фантастическое и сверхъестественное, если оно имеется.

Поэтому я предпочел слово "иметь"; я даже говорю не "все существующее", а "все имеющееся". Это "имеющееся" охватывает самый широкий круг предметов, какой только можно очертить, настолько широкий, что включает вещи, о которых мы непременно скажем, что они имеются, но не существуют. Например, круглый квадрат, нож без

черенка и лезвия и все те удивительные существа, о которых нам говорит поэт Малларме, - к примеру, великий час, который он называет "часом, которого нет на циферблате", или лучшая из женщин - "ни одна из женщин". О круглом квадрате мы можем сказать только то, что его не существует, и не случайно, а потому, что его существование невозможно; но, чтобы вынести бедняге круглому квадрату столь суровый приговор, нам, очевидно, нужно предварительно его иметь, необходимо, чтобы в некотором смысле он имелся.

Я говорил, что математик или физик начинает с ограничения своего предмета через его определение, и это определение числового ряда, множества или любого другого начала математики, как и определение физического явления, определение того, что материально, содержит наиболее существенные атрибуты проблемы. Таким образом, частные науки сначала отсекают, отмежевывают свою проблему, а для этого им нужно заранее знать - или думать, что они знают, - самое главное. Их труд сводится к исследованию внутренней структуры их объекта, его тончайшей

внутренней ткани, так сказать, его гистологии. Но когда философ отправляется на поиски всего имеющегося, он обращается к основной проблеме, проблеме без границ, абсолютной проблеме. Он ничего не знает о том, что он ищет, об Универсуме. Давайте уточним все то, что ему неизвестно; а уточнить - значит со всей строгостью определить проблему философии в том, что составляет ее особенность и отличие.

Когда мы спрашиваем, что такое "все имеющееся", у нас нет ни малейшего представления о том, чем окажется это имеющееся. О философии нам

заранее известно одно: что имеется и то, другое, и третье, и что это как раз то, чего мы не ищем. Мы ищем "целое", а то, что перед нами, всегда не целое. Об этом последнем нам ничего не известно, и может быть, среди всех этих фрагментов, которые у нас уже есть, нет наиболее для нас важных. важнейшего из всего, что имеется.

К тому же нам неизвестно, действительно ли это имеющееся будет единым целым, т. е. Универсумом, или же то, что имеется, скорее, составит различные целые, т. е. будет Мультиверсумом.

Однако это еще не все, что нам неизвестно. Универсум это Мультиверсум, пускаясь в наше интеллектуальное предприятие, мы в сущности не знаем, познаваем ли он, т. е. может ли быть решена наша проблема. Прошу вас не скользить бездумно по поверхности моих последних слов. В них речь идет о самой удивительном свойстве философского мышления, придающем ему исключительный характер, особенно четко выделяющем философский образ мыслей из всех остальных.

В частных науках не возникает сомнения в познаваемости их предмета, там можно сомневаться в возможности полного познания и сталкиваться с некоторыми частными неразрешимыми проблемами в пределах своей общей проблемы. И даже, как в математике, доказывать их неразрешимость. Сама позиция ученого подразумевает веру в возможность познания своего объекта. И речь идет не о смутной человеческой надежде, а о убеждении, настолько свойственном самой науке, что определять проблему в ней. означает наметить основной способ ее решения. Иными

словами, для физика проблемой является то, что в принципе поддается решению, и в некотором смысле решение даже предшествует проблеме; решением и познанием условились называть то рассмотрение проблемы, которое она допускает. Так, о цвете, звуках и вообще чувственно воспринимаемых изменениях физик может знать только то, что касается количественных отношений, и даже о них, например о положении во времени и пространстве, - только относительно, и даже об этих относительностях - только с той степенью приближения, которую

позволяют приборы и наши органы чувств; и вот этот такой неудовлетворительный с теоретической точки зрения результат называют решением и познанием. И в обратном порядке, физической проблемой считается только. то, что можно измерить и методически рассмотреть. Лишь философ в качестве существенного элемента своей познавательной деятельности допускает возможность непознаваемости своего предмета. А это означает, что философия - единственная наука, рассматривающая проблему таковой, какова она есть, без

предварительного насильственного приручения. Она охотится на дикого зверя сельвы, не одурманенного хлороформом, как хищники, которых показывают в цирке.

Стало быть, философская проблема безгранична не только по объему - ибо она охватывает все без исключения, - но и по своей проблемной интенсивности. Это не только проблема абсолютного, но абсолютная проблема. Когда же мы говорим, что частные науки рассматривают относительную, или частную проблему, мы подразумеваем не только то, что они исследуют исключительно эту часть

Универсума, но и то, что сама эта проблема основана на якобы известных и установленных данных и, следовательно, является проблемой лишь наполовину.

Мне кажется, настало время поделиться одним важным соображением, которое, как его ни странно, нигде мне не встречалось. Обычно нашу познавательную или теоретическую деятельность справедливо определяют как умственный процесс, идущий от осознания проблемы к ее решению. Плохо то, что существует тенденция подчеркивать в этом процессе роль исключительно последней части:

рассмотрения и решения проблемы. Поэтому науку, как правило, представляют в виде свода готовых решений. На мой взгляд, это ошибка. Во-первых, если, как этого требует время, не строить утопий, то, строго говоря, весьма сомнительно, чтобы та или иная проблема когда-нибудь была полностью решена; поэтому, определяя науку, не стоит выделять момент решения. Во-вторых, наука - это всегда текущий и открытый решению процесс, на деле это не прибытие в желанную гавань, а скитание по бурным морям в ее поисках. В-третьих, - это главное - обычно забывают, что раз

теоретическая деятельность представляет собой движение от осознания проблемы к ее решению, то первым идет именно осознание проблемы. Почему это стараются не замечать, как нечто несущественное? Почему то, что у человека есть проблемы, представляется естественным и не наводит на размышления? И тем не менее очевидно, что проблема - сердце и ядро науки. Все остальное зависит от нее, вторично по отношению к ней. Пожелай мы вдруг испытать интеллектуальное наслаждение, всегда доставляемое парадоксом, мы бы сказали, что в науке

непроблематична лишь проблема, а остальное, особенно решение, всегда спорно и ненадежно, зыбко и непостоянно. Любая наука - это прежде всего система неизменных или почти неизменных проблем, и именно эта сокровищница проблем переходит от поколения к поколению, от разума к разуму, являясь вотчиной и оплотом традиции в тысячелетней истории науки.

Однако все это только ступень, ведущая к более важному замечанию. Причина ошибочного взгляда на теоретическую деятельность со стороны ее решения, а не с

первоначальной стороны самой проблемы лежит в непризнании чуда, засвидетельствованного великолепным фактом существования у человека проблем. Дело в том, что в слове "проблема" не разделены два совершенно различных его смысла. Мы замечаем, что жизнь испокон века ставит перед человеком проблемы: вот эти-то проблемы, поставленные не самим человеком, а свалившиеся на него, поставленные перед ним его жизнью, суть проблемы практические.

Попытаемся определить то состояние ума, при котором

вовлекает практическая проблема. Мы окружены, осаждены космической реальностью, погружены в нее. Эта охватывающая нас реальность материальна и социальна. Внезапно мы ощущаем потребность или желание, для удовлетворения которого требуется иная окружающая реальность: к примеру, камень, лежащий на пути, мешает нам двигаться вперед. Практическая проблема состоит в том, чтобы заменить наличную реальность на иную, чтобы на дороге не было камня, стало быть, появилось то, чего нет... Практическая проблема - это такое

состояние ума, в котором мы проектируем изменение реальности, задумываем появление того, •чего пока нет, но нам необходимо, чтобы оно было. В корне отличается от Этого состояние, при котором возникает теоретическая проблема. В языке эта проблема выражается вопросом: "Что такое та или иная вещь? Обратите внимание на .странность этого ментального действия, подобного запроса. То, о чем мы спрашиваем: "Что это?" - находится здесь, оно есть - в том или ином смысле, - иначе нам в голову не пришло бы об этом спрашивать. Однако оказывается, что нам

недостаточно того что нечто есть в
находится здесь; напротив, нас
беспокоит" что это есть и есть
таково, каково оно есть, вас
раздражает его" бытие. Почему?
Очевидно, потому, что существующее
перед нами, как оно есть, не
самодостаточно; наоборот, мы видим,
что ему недостает причины
существования, видим, что если оно
лишь то, чем представляется, если за
тем, что мы видим, не скрывается
нечто, его дополняющее и
поддерживающее, его бытие
непостижимо, или, иными словами,
его бытие является небытием,
псевдобытием, тем, чего не должно

быть. Отсюда следует, что теоретическая проблема встает лишь тогда, когда мы исходим из того, что есть, что несомненно находится здесь, но тем не менее или в силу этого мыслится так, будто его нет, будто его не должно быть. Таким образом, теория начинается - как это ни парадоксально - с отрицания реальности, с виртуального разрушения мира, с его уничтожения: это идеальное возвращение мира назад к ничему, ко времени до его сотворения и вместе с тем изумление перед его бытием и движение вспять к его истокам. Итак, если практическая проблема состоит в

том, чтобы было то, чего нет, - но что. требуется, - теоретическая проблема состоит в том, чтобы не было того, что есть, и что как таковое раздражает ум своей недостаточностью.'

Для меня отвага человека, побуждающая его временно отрицать бытие и, отрицая, превращать его в проблему, создавать как проблему, является самой характерной и существенной чертой теоретической деятельности, - поэтому я считаю ее не сводимой ни к одной практической цели, какова бы она ни была. Это значит что внутри биологического и утилитарного

человека находится другой, расточительный и спортивный, который вместо того чтобы упрощать себе жизнь, пользуясь тем, что есть, ее усложняет, меняя безмятежное бытие мира на беспокойное бытие проблем. Это теоретическая основа, или измерение человека, - последний космический факт, который мы безуспешно пытаемся вывести из принципа утилитарности, используемого для объяснения почти всех остальных явлений нашего живого организма. Итак, пусть не говорят, что ставить теоретические проблемы нас вынуждает необходимость или практические

проблемы. Почему этого не происходит с животным, перед которым, несомненно, встают практические проблемы? Оба вида проблематизма имеют совершенно разное происхождение и не сводимы друг к другу. Поэтому справедливо и обратное: у существа без желаний, без потребностей, без влечений - а оно состояло бы из одного интеллекта, решающего теоретические проблемы, - никогда не возникли бы проблемы практические.

Сделав это важное наблюдение, сразу же применим его к нашему исследованию о том, что такое

философия, и скажем: если основным в homo theoreticus. в познавательной деятельности является дар превращать вещи в проблемы, открывать скрытую в них онтологическую трагедию, то несомненно, чем чище будет теоретическая деятельность, тем проблематичнее будет ее проблема; и наоборот, чем более частной будет проблема - тем больше в науке сохранится следов практической деятельности, слепого, не занятого познанием утилитаризма, жажды действия, а не чистого созерцания. Чистое созерцание есть только

теория, о чем прямо свидетельствует этимология этого слова.

Поскольку философская проблема - единственная абсолютная проблема, она представляет собой единственную чисто теоретическую позицию. Это познание, в своем стремлении дошедшее до максимума, это интеллектуальный героизм. Под ногами у философа нет никакого прочного основания, твердой устойчивой почвы. Он заранее отвергает любую надежность, испытывает абсолютную опасность, приносит в жертву свою чистосердечную веру, убивает в себе живого человека, чтобы,

преобразившись, возродиться как чистый разум. Он может, как Франциск Ассизский, сказать: "Я нуждаюсь в малом, и в этом малом я нуждаюсь очень мало". Или же, как Фихте: Философствовать - значит, собственно говоря, не жить, а жить - значит, собственно говоря, не философствовать". И тем не менее мы увидим, в каком новом и существенном смысле философия - по крайней мере, моя - включает также и жизнь.

Наша проблема является абсолютной проблемой, ибо с самого начала допускает свою неразрешимость; возможно, говорим , Универсум - или

все имеющееся - непознаваем. А непознаваем он может быть по двум различным причинам. Одна из них заключается в том, что наша способность к познанию, вероятно, ограничена, как полагают позитивизм, релятивизм и вообще критицизм. Однако Универсум может быть непознаваем и по другой причине, которую игнорируют прежние теории познания: несмотря на то что наша способность к познанию не ограничена, бытие, мир. Универсум сам по себе, по своей структуре препятствием для мысли, ибо иррационален.

До последних лет проблема познания уже не ставилась прежней высокой, классической форме. Пожалуй, больше всего способствовал отказу от целостного ее рассмотрения сам Кант, столь проницательный, гениальный в не устаревающий в той области познания, которой он занимался. Сегодня нам начинает казаться странным и неправомерным стремление избежать общего вопроса даже при частичном рассмотрении проблемы познания. или я задаю вопрос о том, как и насколько способен познавать объект, то прежде я должен выяснить, чтоб я

понимаю под познанием вообще, вне зависимости от познающего субъекта. Коль так я смогу увидеть, выполняются ли в частном случае с человеком те основные условия, без которых невозможно никакое познание. Сегодня, особенно после недавно вышедшей книги великого немецкого мыслителя Николая Гартмана, начинают понимать, что прежде всего следует определить начальные условия познаваемости. В своем простейшем виде познание определялось через известное и тривиальное уподобление мышления бытию. Однако теперь мы видим, что возможен только минимум

adaequatio, дающий чисто символическое' знание, в котором моя мысль о реальности почти ничем не напоминает саму эту реальность, подобно тому как при переводе мы заменяем слова одного языка словами другого, довольствуясь их соответствием или сходством. Даже в этом простейшем случае два языка не могли бы соотноситься, не будь у них вдобавок общей формальной структуры, т. е. грамматической основы, которая хотя бы в чем-то была общей для обоих. То же самое происходит-с любым познанием: если оно хотя бы минимально существует, то должен существовать

и минимум реального подобия между познаваемым бытием и познающим мышлением или субъективным состоянием. Мир может войти в мой разум только в том случае, если структура этого разума в чем-то совпадает со структурой мира, если деятельность моего мышления так или иначе совпадает с бытием. Так что старая схоластическая формулировка неожиданно приобретает новый, более глубокий смысл. Речь идет-не просто о прежнем ее значении, о том почти поверхностном замечании, согласно которому ум, познавая, уподобляется вещи, т. е. копирует ее, речь идет

именно о том глубинном условии, без которого даже это оказывается невозможным. В самом деле, мое мышление не может копировать реальность, вбирать ее в себя если последняя, в свою очередь, не уподобляется моему мышлению. Итак, сегодня - я считаю новой и эту формулировку - *adaequatio* между обоими терминами должно быть взаимным: мое мышление должно совпадать с вещью, но это возможно только, если сама вещь совпадает со структурой моего мышления.

Вот почему без ясного осознания этого факта любая теория познания невольно оказывалась онтологией, т.

е. учением о том,, чем, со своей стороны, является бытие и чем, со своей стороны, является мышление (в конечном счете какое-либо существо ил" определенная вещь) с последующим сравнением обоих. Итак, мышление то объявлялось результатом бытия - и это был реализм, - то, наоборот, доказывалось, что структура бытия проистекает из структуры самого мышления - и это был идеализм. Однако и в том и в другом случае подразумевалось, хотя ясно не осознавалось, что для оправдания познания необходимо доказать структурное тождество обоих

терминов. Кант подытоживает "Критику чистого разума" словами, которые отдают техницизмом, но, на мой взгляд, заключают в себе сегодня самую простую и потому явную, т. е. самую совершенную ясность: условия возможности опыта [читай: мышления] вообще суть вместе с тем условия возможности предметов опыта [читай: бытия или реальности] .

Только так, повторяю, может серьезно, во всем своем идеальном, пугающем драматизме вставать проблема познания. Может быть, структура бытия полностью совпадет со структурой: мышления, т. е.

окажется, что бытие функционирует и существует так же, как функционирует и существует мышление. Это основной тезис рационализма, в котором проявляется максимальный гносеологический оптимизм. Будь это действительно так, познание можно было бы ограничить размышлением мышления о себе самом, не сомневаясь в том, что реальность, подчиняясь тем же законам, что и мышление, послушно совпадет с результатами этого внутреннего анализа, осуществленного мышлением. Поэтому у Аристотеля Бог, начало

вселенной, - это только мышление мышления, мышление, которое, мысля самое себя, познает Универсум. В таком случае действительность состоит из логической материи; действительное разумно, как скажет на противоположном конце истории философии другой рационалист, панлогист Гегель. Если мы хотим захватить врасплох этот рационалистический способ философствования, то вспомним о словах Лейбница в конце его "Новых опытов о человеческом разуме". Великий оптимист говорит, что постигает неизвестные или смутно

известные вещи точно таким же путем, что и вещи, о которых имеется отчетливое звание.

Этот человек уверен, что неизвестное, т. е. действительность за пределами нашего мышления, имеет ту же форму бытия, то же состав или, как я говорю, консистенцию, что и познанная к этому моменту действительность, т. е. та часть реальности, чья консистенция, как оказалось, совпала с консистенцией нашего мышления. Для меня это классический пример того, что я называю интеллектуальным утопизмом, т. е. безумной веры в то,

что мышление в своем стремлении проникнуть в любое место - u-topos - бесконечного корпуса реальности найдет его прозрачным, совпадающим с собой. Будь это так, мне не нужно было бы ждать встречи с незнакомой реальностью, ведь мне заранее известно, как она себя поведет.

По другую сторону от этого избыточного оптимизма поместим крайний пессимизм, для которого бытие ни в чем не совпадает с мышлением, что исключает всякую возможность познания. А посередине - позицию, вероятно, наиболее благоразумную, согласно

которой бытие только частично совпадает с мышлением и только некоторые объекты ведут себя так, как ведет себя мышление, т. е. логично. Теория познания, в которой господствует эта третья точка зрения, постарается нарисовать строгую достоверную картину совпадений и расхождений между Универсумом и мышлением, начертить карту объективного, где будут обжитые зовы, куда способно проникать мышление, и недоступные, иррациональные зоны мира. Например, числа образуют максимально совпадающую с логосом область, настолько, что

сочли возможным
рационализировать всю математику
и построить ее только с помощью
логики. Но в последние месяцы мы
стали свидетелями одной из самых
славных битв в истории разума,
которая наряду с современной
физикой могла бы увековечить нашу
эпоху в длинной череде времен. Я
имею в виду попытку Броуэра и
Вейля доказать частичное
несоответствие консистенции числа
и консистенции понятий и тем
самым - невозможность построения
логической или формалистической
математики и необходимость так
называемой "интуиционистской"

математики, верной особенностям
своего объекта, математики, которая
была бы не логикой, а именно
математикой. Если от математики мы
будем восходить к более сложным
объектам - физической материи,
органической жизни, психической
жизни, общественной жизни,
исторической жизни, то их
иррациональность и
непроницаемость для чистую
мышления будет возрастать, когда же
нашим объектом станет сам
Универсум, то, вероятнее всего, его
неосвоенная, недоступная
пониманию с помощью

традиционного чистого логоса часть будет максимальной.

Дорогами физики разум шествует еще беспечно, но, как прекрасно сказал Бергсон - хотя не по столь же прекрасному поводу - "за пределами физики необходимо проверять разум на здравый смысл". То, что Бергсон называет "здравым смыслом" я очень определенно назвал "жизненным разумом"; последний более широк, чем первый, и для него рациональны многие объекты, действительно иррациональные для старого разума, или для концептуального, или чистого, разума.

Однако было бы серьезным, - пожалуй, наиболее серьезным - недоразумением считать определение философии как учения об Универсуме, а также тенденцию построить максимум философского корпуса, откровенным возвращением к старой метафизике. Эти внешние - политические, педагогические, гигиенические - возражения против мысли, развивающейся в силу внутренних причин, всегда звучат по-ребячески легкомысленно, скажу больше: им не хватает теоретической достоверности. Всякий, кто критикует теоретическую работу по мотивам, имеющим к ней косвенное

отношение и с помощью "аргументов к человеку", тем самым разоблачает себя как плохого теоретика. Нельзя рассуждать о вещах поверхностно, не проникая в их суть, не пристало *vorbeireden*, избегая именно тех вопросов, по которым выносятся приговор. Я призываю новые поколения испанских интеллектуалов быть в этом пункте особенно требовательными, ибо это главное условие того, чтобы в стране действительно пробудилась серьезная интеллектуальная жизнь. "Остальное, - как говорит персонаж одной испанской новеллы, - только вопрос техники".

Быть может, философия, для которой, как мы определили выше, самое важное и необходимое - вправе допустить возможность непознаваемости своего объекта, уязвима, быть может, откровенное возвращение к старой метафизике плохо. Насколько мне известно, никогда формулировка отправного пункта философии не вызывала столь резкой критики, не требовала такой осторожности. Но сегодня, верные героическому способу дознания и мышления, который, хочешь не хочешь, в сущности и есть философия, мы не можем осторожничать, ибо стремимся к

завершенности. Осторожность допустима, но естественная, без подозрительности. Не следует .подходить к Универсуму с недоверчивостью крестьянина. Позитивизм был деревенской философией. Как говорил Гегель, страх совершить ошибку - уже ошибка, и если в нем разобраться, то в глубине его обнаружится страх перед истиной. Философ, готовый к предельной интеллектуальной опасности, открыто выражающий все свои мысли, обязав пользоваться полной свободой - освободиться от всего, даже от этой крестьянской подозрительности к возможной

метафизике. Итак, мы не отвергаем строгой критики, наоборот, мы доводим ее требовательность до предела, но делаем это спокойно, не придавая этому значения, без патетических жестов. Нам, как и всему нашему времени, претит пустая раздражительность и аффектированность. Во всем нужно быть только самим собой, без суеты, без преувеличений - не воздвигая на носу корабля собственной статуи.

Если сейчас, держа в руках нить Ариадны, чтобы не сбиться с пути при развертывании понятий, мы подытожим сказанное, повторив первую формулировку, она покажется

вам более осмысленной. Философия - это познание Универсума, или всего имеющегося, однако нам с самого начала неизвестно, что такое это все имеющееся; составляет ли это все имеющееся Универсум или Мультиверсум; познаваем ли этот Универсум или Мультиверсум.

Итак, затея представляется безумной. Зачем же тратить силы? Не благоразумнее ли уклониться, посвятить себя только жизни, отбросив философию? Древнеримскому герою необходимо было плыть, а не жить. Люди всегда делятся на эти две категории, в лучшую из которых входят те, кому

необходимо именно бесполезное. В маленьком дворике на Востоке нежно и трепетно, подобно струе фонтана, вздымается священный голос Христа, укоряющий: "Марфа, Марфа, одно только нужно". Это намек хлопотливой Марфе на любящую и не пекущуюся о пользе Марию .

Лекция V

[Необходимость философии.
Присутствие и соприсутствие. -
Основная сущность. - Автономия и
пантономия.] - Защита теолога перед
мистиком.]

Определяя проблему философии, мы обнаруживаем, что эта самая радикальная, архипроблематичная проблема из всех возможных. С другой стороны, мы видим: - чем проблематичней проблема, тем чище познавательная, теоретическая деятельность, воспринимающая и исследующая ее. Поэтому философия есть высшее умственное усилие, по сравнению с которым другие науки, даже чистая математика, несут на себе отпечаток эмпиризма.

Однако не свидетельствует ли сама эта чистота, этот предельный интеллектуальный героизм,

свойственные философии, о некотором безрассудстве, исступлении? Не противоречит ли здравому смыслу постановка такой необычной проблемы, как философская? Если говорить об осуществлении, то следует заметить, что попытка, называемая философией, меньше всего может рассчитывать на успех. Она представляется, говорил я, безумной затей. Тогда зачем предпринимать эту попытку? Почему бы не довольствоваться жизнью, отвергнув философию? Если ее цель недостижима, значит философия не нужна, в ней нет необходимости.

Прекрасно, но прежде всего дело в том, что есть люди, которым необходимо как раз бесполезное. Вспомним божественное противопоставление полезнейшей Марфы и не пекущейся о пользе Марии. Истина в том - и именно это подразумевают слова Христа, - что полного разделения не существует и что саму жизнь, в том числе жизнь органическую и биологическую, в конечном счете нельзя понять через пользу, но можно объяснить как грандиозное спортивное явление.

Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? Если понимать

под необходимостью "полезность" для чего-то другого, то философия не является необходимой, по крайней мере на первый взгляд. Однако необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению к цели. Истинная необходимость - это необходимость для каждого существа быть самим собой: для птицы - летать, для рыбы - плавать, для ума - философствовать. Эта необходимость в осуществлении функции или акта нашего существования является самой высокой, самой существенной необходимостью. Поэтому

Аристотель уверенно говорит о науках:

"Все другие науки более необходимы, нежели она, но лучше нет ни одной (греч.). Недаром Платой в пору наивысшего расцвета своей строгой мысли, подыскивая наиболее смелое определение философии, в самом разгаре диалоге "Софист" назовет ее "Наука людей свободных".

Философия возникает не по причине полезности, однако не из беспричинного каприза. Она является основной потребностью разума. Почему? Ее существенным признаком мы назвали поиск целого

как такового, захват Универсума, охоту на Единорога. Откуда берется это стремление? Почему не довольствоваться тем, что вам открывается в мире без всякой философии, тем, что уже есть и находится здесь перед нами? Да просто потому, что все существующее и находящееся здесь, данное нам, присутствующее, явное - это, в сущности, только кусок, осколок, фрагмент, обрубок. Глядя на него, нельзя не заметить, не почувствовать его изъяна. В любом данном нам бытии, в любом явлении мира мы обнаруживаем глубокий след излома, свидетельство того, что

это часть и только часть, мы видим рубец его онтологического увечья, к нам вопиют страдания калеки, его тоска ни отнятому, его божественная неудовлетворенность. Двенадцать лет назад, выступая в Буэнос-Айресе, я определил неудовлетворенность "как любовь без возлюбленного и как боль в отсутствующих у нас членах". Это тоска по тому, чем мы не являемся, призвание нашей неполноты и искалеченное.

Строго говоря, я хочу сказать следующее: взяв любой предмет из тех, что мы обнаруживаем в окружающем нас мире, внимательно взглядевшись в то, что находится

перед нами, мы вскоре начинаем понимать, что это только фрагмент, к которому необходимо домыслить другую, дополняющую его реальность. Так, цвета во всем их богатстве, беспрерывно сменяющие друг друга перед нашими глазами, являются ни только тем, чем кажутся на первый взгляд. Любой цвет должна иметь некую протяженность, он существует, покрывая некое пространство; поэтому нет цвета без пространства. Он только часть целого, которое мы назовем цветовым пространством, или пространственным цветом. Но само это цветовое пространство, в свою

очередь, не может быть только цветовым пространством.

Существование пространства предполагает то, что простирается, что служит опорой пространству и цвету, - субстрат, или основу.

Пространство, как отвечает Лейбниц Декарту, требует *extensione prius*.

Следуя традиции, назовем эту основу материей. Когда мы доходим до материи, кажется, что наконец-то мы пришли к чему-то самодостаточному.

Материя уже не нуждается ни в какой основе: она находится здесь сама по себе - в отличие от цвета, который присутствует и существует через другое, через материю,

служащую ему основой. Но вдруг у нас возникает подозрение: материя, которая уже существует, находится здесь, является самодостаточной, не могла породить „самое себя, не могла сама положить начало своему существованию. Материю нельзя мыслить, не представляя ее тем, что она своим существованием какой-то другой силе, подобно как, глядя на летящую стрелу, нельзя не вспомнить о пославшей ее руке. Таким образом, она тоже часть более широкого породившего ее процесса, более широкой дополняющей ее реальности. Все это тривиально и

служит лишь пояснением к рассматриваемой нами мысли.

Возьмем другой пример, который мне представляется более близким и наглядным. Весь этот вал в целом присутствует в нашем восприятии. Он кажется - по крайней мере нам - чем-то законченным и достаточным. Он состоит из того, что мы в нем видим, и ни из чего более. По крайней мере нам кажется, что, проанализировав наше зрительное восприятие этого зала, мы обнаружим в нем лишь его цвет, его свет, его формы, его пространство, не говоря о прочем. Но если затем мы, покидая этот зал, обнаружим, что за

его дверями мир кончается, что дальше за этим залом нет ничего, даже пустого пространства, наш потрясенный разум испытает шок. Почему мы, не успев задуматься, мгновенно поражаемся, что за пределами этого зала нет ни домов, ни улиц, ни города, ни атмосферы и т. д., если раньше у нас в голове было только то, что мы видели в вале? Вероятно, в нашем восприятии рядом с явным присутствием видимого нами интерьера скрыто присутствовал общий фон, исчезновение которого мы не можем не заметить. Иными словами, этот зал даже в непосредственном

восприятию не был чем-то закопченным, а был лишь первым планом, выступающим на общем фоне, который мы имели в виду, который в виде скрытого дополнения уже существовал для нас, обрамляя то, что мы на самом деле видели. Этот общий окружающий фон сейчас не присутствует, а соприсутствует. И в самом деле, всякий раз, когда мы видим нечто, что нечто появляется на скрытом, темном, огромном фоне смутных очертаний, и это есть просто мир, фрагментом, осколком которого оно является. Каждый раз мы видим только выступающую часть скрытого от нас в остальном

мира. Возведя это наблюдение в общий принцип, можно сказать: в том, что присутствует, всегда соприсутствует мир.

То же происходит с реальностью внутри нас, с вашей психикой. В каждый момент мы видим лишь ничтожную часть его внутреннего бытия: возникающие у нас в этот миг мысли, испытываемые нами страдания, бледный образ, рисуемый нашим воображением, чувство, во власти которого мы теперь находимся, - лишь эту этакую горстку вещей встречает наш взгляд, обращенный внутрь; вместо себя мы видим лишь плечо, заслоняющее

наше полное настоящее Я, которое скрыто от глаз, подобно лежащей внизу долине или горе, заслоненной другими горами.

Итак, мир в том смысле, который мы теперь придаем этому слову, - это лишь совокупность вещей, которые мы можем последовательно различать. Те вещи, которых мы сейчас не видим, служат фоном для видимых вещей, затем и они возникнут перед вами явно в зримо, будут вам даны. И если каждая из них лишь фрагмент, а мир лишь собрание или грудa вещей, то можно сказать что мир в целом - совокупность того, что нам дано, и в

силу этой данности называемый "нашим миром", - свою очередь, также является огромным, колоссальным фрагментом, только фрагментом и ничем более. Мир себя не объясняет даже самому себе; наоборот, когда теоретически мы оказываемся перед ним, то нам дается только... проблема.

В чем состоит проблематичность проблемы? Возьмем избитый пример: погруженная в воду палка кажется прямой на ощупь и кривой на вид. Ум хочет остановиться на одном из этих признаков, однако не может отдать предпочтение ни одному из них. Не в силах сделать

выбор, ум испытывает тревогу и ищет решения: он пробует найти выход, превращая эти признаки в чистую видимость. Проблема лежит в осознании бытия и небытия, в осознании противоречия. Как говорил Гамлет: "Быть или не быть, вот в чем вопрос".

Таким предстает перед нами мир: он не самодостаточен, не служит основанием для собственного бытия, а кричит о том, чего ему недостает, провозглашает свое не-бытие, вынуждает нас философствовать; ведь философствовать - значит искать целостность мира, превращать его в Универсум,

придавая ему завершенность и создавая из части целое, в котором он мог бы спокойно разместиться. Мир недостаточен и фрагментарен, в основе этого объекта лежит нечто, не являющееся миром, не являющееся тем, что нам дано. Таким образом, это "нечто" решает основополагающую задачу, является основной сущностью. Как говорил Кант, когда то, что обусловлено, нам дано, всеобусловленное ставится перед нами как проблема. Вот главная философская проблема, неизбежно встающая перед разумом. Теперь обратите внимание на любопытную ситуацию,

возникающую в связи с этой постулируемой, по не данной нам сущностью, основной сущностью. Ее нельзя искать, как ищут любую вещь этого мира, которая отсутствовала до сегодняшнего дня, но, может быть, обнаружится завтра. По своей природе основная сущность не есть то, что дается, она никогда не присутствует в познании, являясь именно тем, чего недостает в любим присутствии. Как мы о ней узнаем? С этой необычной сущностью происходят удивительные вещи. Мы замечаем, что в мозаике недостает фрагмента, по оставшейся дыре; видим именно его отсутствие; он

присутствует благодаря тому, что его нет, стало быть, благодаря своему отсутствию. Подобным образом основная сущность есть то, что по своей природе вечно отсутствует, чего всегда в мире недостает, - мы видим только рану, оставленную ее отсутствием, подобно тому как замечаем, что у инвалида нет руки. Поэтому нам следует определить основную сущность, наметив края этой раны, очертив линию разлома. В силу своего характера она не может походить на данное вам сущее, как раз являющееся вторичным и обоснованным. По своей природе основанная сущность есть нечто

совершенно иное, ни на что не похожее, абсолютно экзотическое.

Я думаю, здесь следует особо подчеркнуть неоднородность этой основной сущности и любого принадлежащего вашему миру сущего, их несхожесть, их несовместимость, не строя иллюзий о ее близости и сходстве со знакомыми, данными вам вещами. В этом смысле - хотя только в этом - я сочувствую тем, кто не желает превращать эту трансцендентальную сущность, в нечто домашнее, близкое, едва ли не в соседнее. Поскольку в религиях Богом именуется то, что в философии

возникает как проблема поиска основания мира, мы также находили там две различные позиции: одни помещают Бога слишком близко и, подобно Св. Тересе, заставляют его ходить между горшками; другие, на мой взгляд с большим уважением и философским тактом, его удаляют, вынося за пределы нашего мира.

В этой связи я всегда с волнением вспоминаю Маркиона , первого великого христианского еретика, к которому Церковь - несмотря на неперемный эпитет "первенца Сатаны", - проявляя тонкое понимание, всегда питала глубочайшее искреннее почтение,

ибо он и впрямь был мужем,
достойным во всех отношениях.
Исходя из сверхчувственного
сознания, Маркион, как все
гностики, считал ограниченность,
изъян, недостаточность признаком
всего земного. Поэтому он не
допускает даже мысли о том, чтобы
верховный истинный Бог был так или
иначе связан миром: он не имеет с
миром ничего общего, являясь
абсолютно иным. Иначе он морально
и онтологически был бы запачкан
несовершенством и
ограниченностью мира. По мнению
Маркиона, отсюда следует, что
истинный и верховный Бог может

быть творцом мира: тогда он
оказался бы творцом
несовершенного мира и, стало быть,
сам несовершенен, мы же, глядя на
мир, ищем полное совершенство.
Творить - сейчас я привожу
собственное толкование Маркиона -
значит заражаться :отворенным. Бог-
творец - это вторая власть, Бог
Ветхого завета, Бог, в котором много
от мира сего. Бог справедливости и
Бог войск, что предполагает его
неразрывную связь с преступлением
и борьбой. Истинный Бог, напротив,
не справедлив, но просто благ,
олицетворяя не справедливость, а
милосердие, любовь. Он существует

извечно, чуждый миру, отсутствуя в мире, не соприкасаясь с ним, в полном отдалении; поэтому мы можем знать его только "Бог-чужеземец", но именно в силу того, что он абсолютно иной, чем мир, он возмещает его ущерб и придает ему завершенность. Одним тем, что он не имеет к миру никакого отношения, он его спасает. И для гностика в высшей степени божественное деяние - это не сотворение мира, доступное и языческому демиургу, а его "растворение", уничтожение зла, из которою он построен, т. е. Его спасение.

При необходимости эту дистанцию можно подчеркнуть с помощью других примеров. Оставим гностицизм, преувеличивавший значение этого аспекта - Deus exsuperantissimus Вернемся к теме нашего рассуждения. Не считите мои слова за проповедь маркионизма. Я не силен в проповедях, тем более что в них говорится о Боге, теологической проблеме, которая для нас лишь пример из другой области. Мы рассуждаем только об основной сущности, предмете, принадлежащем исключительно философии.

Философия - это познание вселенной, или всего имеющегося. Мы уже видели, что для философа это означает обязанность ставить абсолютную проблему, т. е. не опираться без лишних хлопот на уже сложившиеся верования, не придавать никакого значения тому, что уже известно. Известное перестает быть проблемой. Итак, то известное, что находится вне философии, в стороне от нее или предшествует ей, исходит из частной, а не всеобщей точки зрения, являясь знанием низшего уровня, которому нет места на высотах, где осуществляется *a nativitate*

философское познание. С высоты философии любое другое знание представляется наивным и в некотором отношении ложным, т. е. опять-таки оказывается проблематичным. Поэтому Николай Кузанский называл науку *docta ignorantia*.

Такая неудобная, однако неизбежная позиция, к которой приводят философа призвание и крайний интеллектуальный героизм, навязывает его мышлению то, что я называю принципом автономии. Этот методологический принцип означает, что мы отказываемся опираться на что-либо

предшествующее той самой философии, которую мы пытаемся построить, и обещаем не исходить из мнимых истин. Философия - это наука без предпосылок. Под нею я понимаю систему истин, построенную таким образом, что к ее основание не может быть положена ни одна истина, считающаяся доказанной вне этой системы. Поэтому абсолютно все философские допущения философ обязан добывать собственными средствами. Иными словами, философия автономна, она сама себе интеллектуальный закон. Я называю это принципом автономии - и он, как

нетрудно заметить, связывает нас с прошлым всей критической философии; он отсылает нас к великому основоположнику современного мышления и позволяет по праву называться внуками Декарта. Не обольщайтесь ласковостью внуков. Вскоре мы поквитаемся с нашими дедами. Сначала философ освобождает свой ум от усвоенных верований, превращая его в настоящий необитаемый остров, затем, уединившись на этом острове, он неизбежно становится Робинзоном методики. В этом и заключается смысл сомнения как метода, навечно

заложенного Декартом в преддверии философского знания. Он означает сомнение не просто во всем том, что на самом деле кажется сомнительным, обычно возникающее у всякого здравомыслящего человека, но даже в том, что не вызывает, но в принципе может вызвать сомнение. Это сомнение, которым философ пользуется в своей работе как скальпелем, не сводится к обычной людской подозрительности, а распространяется на гораздо более широкую область: от явно сомнительного до того, в чем можно усомниться. Поэтому Декарт назвал

свои знаменитые размышления не "О том, что подвергают сомнению".

Этим объясняется характерная черта всей философии - ее парадоксальность. Вся философия - парадокс, она расходится с нашими естественными представлениями о жизни, потому что подвергает теоретическому сомнению даже самые очевидные, бесспорные в обычной жизни верования.

Но раз уж, соблюдая принцип автономии, философ отступил в распоряжение нескольких первичных истин, не допускающих даже теоретического сомнения и потому

служащих собственным
доказательством и подтверждением,
он должен встать лицом к
Универсуму и завоевать, захватить
его целиком. Этот исходный пункт
или несколько пунктов строгой
истины нужно расширить настолько,
чтобы взять в плен все имеющееся.
Наряду с аскетическим принципом
осторожного отступления, т. е.
автономией, действует
противоположный принцип -
универсализм, стремление ума к
целому, которое я называю
пантономией.

Одного принципа автономии
недостаточно: он негативен,

статичен, требует осмотрительности, он призывает остерегаться, а па действовать, не служит ориентиром, не направляет движение вперед. Мало не делать ошибок, нужно поразить цель, нужно неутомимо атаковать нашу проблему определения целого, или Универсума, поэтому каждое философское понятие должно вырабатываться с учетом целого в отличие от понятий частных наук, где каждая часть рассматривается обособленно или как ложное целое. Так, физика говорит вам лишь о том, что такое материя, как будто она одна и существует в Универсуме. Поэтому

физики всегда стремилась, подняв мятеж, объявить себя подлинной философией; материализм и есть псевдофилософия, рожденная этим мятежом. Философ, напротив, ищет в материи то, что связывает ее с Универсумом, сообщает о каждой вещи конечную истину, то, чем она является в связи с другими вещами. Этот концептуальный принцип я называю пантономией, или законом целостности.

Начиная с Возрождения и вплоть до наших дней принцип автономии провозглашался достаточно часто, что иногда имело весьма прискорбные последствия,

тормозившие и даже приостанавливавшие развитие философской мысли. Принцип пантономии, или универсализма, напротив, привлек к себе должное внимание лишь в один из моментов античности и в недолгий период романтической философии, от Канта до Гегеля. Осмелюсь заявить, что это и только это сближает нас с посткантианскими системами, чей идеологический стиль в остальном слишком устарел. Однако это единственное совпадение говорит о многом. Мы сходимся в том, что не довольствуемся одним стремлением избежать ошибок и не считаем, что

эту задачу легче всего выполнить, сузив область исследования; напротив, мы стремимся предельно ее расширить, превратив намерение размышлять обо всем, не оставляя ничего вовне, в методический императив. Начиная с Гегеля, философы забыли о том, что философия есть целостное мышление, а не что иное, со всеми его преимуществами и, разумеется, недостатками.

Нам нужна такая философия, которая была бы философией и только ею одной, которая признала бы свою судьбу во всем ее блеске и нищете, не завидуя познавательным

доблестям других наук: точности математической истины или чувственному подтверждению и практичности истины физической. Философ прошлого века не случайно изменил своему предназначению. В то время на Западе было принято отвергать свою Судьбу, стремиться стать иным, чем ты есть. То было истинно революционное время. В конечном счете слова "революционный дух" означают не только стремление к совершенству, всегда достойное похвал и уважения, но и уверенность, что можно безгранично превращать одно в другое, меняя даже суть вещей, что

стоит ли подумать о каком-либо
якобы наилучшем миропорядке или
обществе, чтобы приняться
претворять их в жизнь, не
сообразуясь с тем, что основная
структура мира и общества не терпит
перемен и, стало быть, ограничивает
осуществимость наших желаний,
придавая любой реформаторской
деятельности, которая этого не
замечает, характер легкомысленной
затеи. Революционному духу,
который утопически пытается
превратить вещи в то, чем они
никогда не могут да и не должны
быть, следует противопоставить
великий этический принцип,

который Пиндар провозгласил в своих стихах, сказав просто-напросто: "Стань самым собой".

Необходимо, чтобы философия смирилась со своей скромной ролью, не претендуя на чужие достоинства, украшающие другие виды знания. Хотя сначала может показаться, что философия в своем стремлении охватить Универсум, поглотить его, страдает манией величия, речь, собственно, идет о дисциплине не более и не менее скромной, чем другие. Ибо Универсум, или все имеющееся, является не каждой из имеющихся вещей, а только тем, что в каждой вещи универсально, и,

стало быть, лишь одной стороной каждой вещи. В этом смысле, хотя только в этом, объект философии тоже частичен, ибо он часть, которой каждая вещь прикрепляется к целому, как бы ее пуповина.

Осмелюсь утверждать, что философ в конечном счете тоже специалист, а именно специалист по универсумам.

Потому как Эйнштейн, как мы видели, превращает эмпирическую и, следовательно, относительную метрику - т. е. то, что на первый взгляд кажется ограничением и даже причиной ошибок, - в основу всех физических понятий, философия - мне важно это подчеркнуть -

превращает стремление охватить умом Универсум в логический и методологический принцип своих представлена. Стало быть, то, что может казаться пороком, безумным желанием, она превращает в свою суровую судьбу и плодотворную истину. Тех, кто подходит к предмету философии более вдумчиво удивит, что это требование охватить целое называют логическим принципом. Исстари логика знает лишь принципы тождества и противоречия, достаточного основания и исключенного третьего. Возможно, меня обвинят в ереси, однако на этот раз я не проговорился,

а как бы ее провозглашаю. В свое время мы убедимся, что эта ересь имеет глубокий смысл и веские основания.

Согласно бретонской легенде, тот, кто спускался в чистилище Св. Патрика, уже никогда не мог смеяться. Неподвижность лицевых мышц, ответственных за появление улыбки, служила "удостоверением" подземных странствий. Мистик возвращается цел и невредим, безо всяких следов соприкосновения с высшей материей, в которую он некогда погружался. Если кто-нибудь скажет нам, что вернулся со дна морского, мы невольно бросим

взгляд на его одежду, отыскивая на ней неясные следы кораллов и водорослей, глубокое водной фауны и флоры.

Однако соблазн совершить предложенное путешествие так велик, что, подавив мгновенное замешательство, мы с готовностью устремляемся за мистиком. Нас обольщают его слова. Как правило, мистики виртуозно владели словом, были очень точными писателями. Любопытно и - как мы увидим - парадоксально, что во всем мире классиками языка были мистики. Наряду с изумительной остротой ума мистики всегда обладали огромным

драматическим талантом. Драматизм - это особое напряжение нашей души, вызванное тем, что ожидается в будущем, приближаясь с каждым часом, так что любопытство, страх или влечение, возбужденные этим будущим событием, ежеминутно накапливаются и усиливаются сами по себе. Если дистанция, отделяющая вас от столь желанного или столь пугающего будущего, разделена на этапы, то с переходом к каждому последующему этапу наше напряжение каждый раз возрастает. Того, кто намерен пересечь Сахару, интересуют ее границы, за которыми кончается цивилизация, но еще

больше его интересует то, что внутри этих границ - ведь это уже пустыня, - однако больше всего его интересует сам центр пустыни, как будто этот центр и есть ее квинтэссенция. Итак, не иссякая со временем, любопытство, подобно вашим мышцам, растет и крепнет от нагрузки. Нам интересно, что следует за первым этапом, но еще интереснее, что скрывается за следующим и т. д. Любому хорошему драматургу известно, что напряжение механически достигается делением' пути к обещанному будущему на части. Поэтому мистики всегда делят путь к

экстазу на этапы. Иногда речь идет о замках, разделенных на комнаты, которые, подобно японским коробочкам, находятся одна в другой, - как у Св. Тересы; иногда это восхождение на гору, с одного уступа на другой, как у Св. Хуана де ла Крус, или же лестница, где каждая ступень обещает нам новое видение и новый пейзаж - как на духовной Лествице Св. Иоанна Лествичника .

Признаться, по достижении каждого следующего этапа мы чувствуем некоторое разочарование. Однако надежда на то, что еще шаг - и нам откроется нечто чудесное и невероятное, питает наше

воодушевление. Но именно в последней комнате, на вершине горы Кармело, на последней ступени' лестницы наш проводник-мистик, до той поры но умолкавший, говорит: "Сейчас я вас покину, я собираюсь погрузиться в транс. Вернувшись, я все вам расскажу". Мы терпеливо ждем, мечтая своими глазами увидеть, как мистик возвращается прямо из бездны, еще окутанный тайной, пропитанный терпким запахом иных ветров, какой порой хранит одежда мореплавателей. И вот он возвращается; он приближается и говорит: "А знаете, я не смогу вам рассказать ничего или

почти ничего, ибо увиденное мной невыразимо, непередаваемо, неизъяснимо". И прежде столь красноречивый, столь словоохотливый мистик в решающий момент вдруг погружается в молчание, а чаще - и вот изначально хуже - сообщает нам о запредельном мире такие пустяки, такие банальности, что лишь дискредитирует тот мир. Как говорится в немецкой поговорке, "из долгого путешествия приносят рассказы". Из путешествия в иные пределы мистик не приносит ничего или почти ничего, что можно было бы рассказать. Мы зря потратили

время. Классик языка преобразается
в мастера молчания.

Этим я хочу сказать, что сдержанное
- в прямом смысле слова - отношение
к мистицизму должно состоять не в
скрупулезном изучении
произведений мистиков с точки
зрения клинической психиатрии -
ибо такой подход не выявил бы
ничего существенного в их работах, -
и не в выдвижении любых других
предварительных возражений;
напротив, нам следует, согласившись
со всеми их заявлениями, поймать их
на слове. Они претендуют на высшее
звание о действительности. Если и в
самом деле трофеи знания, добытые

в состоянии транса, ценней теоретических знаний мы не колеблясь, откажемся от последних и станем мистиками. Однако банальности, которые нам сообщают, невыносимо скучны. На это мистики отвечают, что экстатическое знание в силу самого своего превосходства выходит за пределы всякого языка являясь немым знанием. Его можно достигнуть только своими силами, в одиночку, и мистическая книга в отличие от научной есть не учение о трансцендентальной реальности, а описание ведущего к этой реальности пути, путеводитель для разума, стремящегося к

абсолютному. Мистическое знание невыразимо и по своей природе бессловесно.

В самом деле, невыразимость и молчаливость того или иного знания также не могут служить доводом против мистицизма. Краски которые видят наши глаза, и звуки, которые слышат наши уши, строго говоря, невыразимы. Особый оттенок реального цвета не выразить словами, его нужно видеть, и только видевший его определенно знает, о чем идет речь. Слепому по описать всей красочности мира, которая для нас столь очевидна. И Было бы неверно сомневаться в том, что

видит мистик, на том основании, что видеть это способен он один. Нам нужно искоренить из сознания демократию знания, согласно которой существует только то что может знать каждый. Нет, есть люди, видящие больше других, и этим другим остается лишь признать их превосходство, когда оно очевидно. Иными словами, незрячий должен доверять зрячему. Нам возразят: "А как удостовериться, что некто действительно видит нам невидимое? Мир полон шарлатанов, честолюбцев, мошенников и безумцев". Мне кажется, найти критерий в этом случае нетрудно: я

поверю, что кто-то видит больше меня, если благодаря недоступному мне высшему видению он получает заметное превосходство. Я сужу по результатам. Итак, заметьте, что мистицизм не получил широкого признания вовсе не потому, что мистическое звание невыразимо и непередаваемо - мы еще убедимся в том, что в самом деле есть знания, непередаваемые по самой своей природе, приговоренные к неизбежному молчанию. Я выступаю против мистицизма потому, что мистическое видение не дает никаких преимуществ разуму. К счастью, некоторые мистики прежде

всего были гениальными мыслителями - например Плотин, Мейстер Экхарт и Бергсон. У них особенно разителен контраст между логичностью и ясностью мышления и бедностью экстатических поисков.

Мистицизм склонен злоупотреблять глубинами и спекулировать бездной; по меньшей мере, бездна его восхищает и притягивает. Но философия имеет противоположную склонность. В отличие от мистики ее влечет не погружение в пучину, а выход на поверхность. Вопреки расхожей молве, философия воплощает могучее стремление к поверхности, т. е. к тому, чтобы

вынести В на поверхность и по возможности сделать явным, ясным, доступным то, что было гаубичным, тайным, скрытым. Ей отвратительны таинственность и мелодраматизм посвященного, мистагога. Она может сказать вместе с Гете:

Блажен, кто вырваться на свет

Надеется из лаки окружной.

Философия - это могучее стремление к прозрачности и упорная тяга к дневному свету. Ее главная цель - вынести на поверхность, обнажить, открыть тайное или сокрытое; в Греции философия сначала

называлась *aletheia*, что означает разоблачение, обнажение, раскрытие - короче, проявление. А проявить - значит произнести слово: *logos*. Если мистицизм - молчание, то философия - слово, открытие бытия вещей в подпой обнаженности и прозрачности речи, слово о бытии: онтология. В отличие от мистицизма философия стремится быть произнесенной тайной. Помнится, несколько лет назад я напечатал следующее: "Итак, я прекрасно понимаю и легко разделяю ту настороже ревность, с которой Церковь всегда относилась к мистикам, опасаясь, как бы их

экстатические приключения не умалили авторитета веры. Экстаз близок к „исступлению". Поэтому сами мистики сравнивают его с опьянением. Им не хватает выдержки и юности ума. В их отношении к Богу есть нечто от вакханалии, претящее суровому спокойствию истинного священника. Суть в том, что конфуцианский мандарин испытывает к даосистскому мистiku точно такое же презрение, как католический теолог к невидящей монашке. Сторонники беспорядка любому порядку всегда предпочтут анархию, а исступленность мистиков - ясному упорядоченному уму

священников, т. е. Церкви. Я чувствую, не могу разделить и этого предпочтения. По очевидной причине. Раз мой взгляд, любая теология нам говорит гораздо больше о Боге, сообщает больше догадок и сведений о божественном, чем все вместе взятые экстазы всех вместе взятых мистиков.

Поэтому, отказавшись от скептического отношения к трансу мистик" нужно, как я уже говорил, поверить ему на слово, получать от него то, что он выносит из своих трансцендентальных погружений, а затем посмотреть, чего оно стоит. По правде говоря, то, что он может

сообщить, вернувшись из путешествия в такие выеи стоит немного. Я верю, что европейская душа близка к новому опыту Бога, к новым поискам этой важнейшей реальности. Однако я сильно сомневаюсь, что обогащение наших представлений о божественном придет подземными ходами мистики, а не светлыми путями дискурсивного мышления. Теология, а не Экстаз заявив это со всей определенностью, я не вижу оснований пренебрегать работами .мыслителей-мистиков. В ином смысле и в иной связи они представляют огромный интерес. Сегодня как никогда мы должны

многому у них научиться. В том числе небезынтересно их представление об экстазе - конечно, не сам экстаз. Вскоре мы увидим почему. Я утверждаю, что мистическая философия не имеет отношения к тому, что мы пытаемся построить под именем философии. Единственное изначальное ограничение последней состоит в стремлении быть теоретическим мышлением, системой понятий, т. е. высказываний. Вернувшись - уже в который раз - к поискам сравнения с современной наукой я скажу. если физика - все то, что можно измерить,

то философия - все то, что можно сказать об Универсуме.

Лекция VI

[Верование и теория;
жизнерадостность-Интуитивная
очевидность- Денные философской
проблемы.]

Итак, философия есть не что иное,
как деятельность теоретического
познания, теория Универсума. И хотя
слово "Универсум", распахнувшись,
подобно широкому окну, как будто
слегка оживляет суровое слово

"теория", не будем забывать, что мы
собираемся строить не Универсум -

для этого нам пришлось бы
вообразить себя богами - а лишь его
теорию. Итак, философия не
является Универсумом, она даже не
является непосредственным
общением с Универсумом, которое
мы именуем "жизнью", мы будем не
переживать вещи, а теоретизировать
о них, их созерцать. А созерцать вещь
- значит находиться вне ее,
решившись сохранить между собой и
ею целомудренную дистанцию. Мы
собираемся построить теорию, или,
что одно и то же, систему понятий об
Универсуме. Не меньше, но и не
больше. Найти те понятия,
расположив которые в определенном

порядке, мы сможем рассказать обо всем, что, на наш взгляд, имеется, или об Универсуме. Следовательно, речь не идет о чем-то грандиозном. Хотя философским проблемам в силу их радикальности свойственна патетика, сама философия ею не страдает. Скорей ее можно сравнить с приятным занятием, склонностью, увлечением. Речь идет просто о том, чтобы скомбинировать наши понятия, как части головоломки. Такая точка зрения на философию для меня предпочтительней высокопарных определений. Как и все великие занятия человека, она носит спортивный характер и

заимствует у спорта бескорыстность и глубокую сосредоточенность.

Мои следующие слова - я повторяю - могут поначалу вам показаться странными, однако они плод долгого опыта и справедливы не только для философии, но и для всей науки, всего того, что в строгом смысле слова называется теорией. Так вот: когда наука хочет приобщиться человек, до этого ею не занимавшийся, то лучший способ облегчить ему знакомство с ней, разъяснить, что представляет собой труд ученого, - это сказать: "Не стремись „убедиться" в том, что ты услышишь и станешь обдумывать не

принимай этого всерьез, а считай игрой, правила которой! нужно соблюдать". Душевный склад, соответствующий атому далеко не возвышенному занятию, и есть то настроение, и которой лучше всего начинать научное исследование. Причина этого проста: в донаучной деятельности под словами "убедиться" и "принимать всерьез" понимается такое твердое, такое самодовольное состояние духа, которое можно испытывать лишь по отношению' к самому привычному в устоявшемся. Я хочу сказать, что такие убеждения, как "солнце встает над горизонтом" или "тела, которые

мы видим, действительно находятся
пне нас", настолько слепы, настолько
обусловлены неотделимыми от вас
привычками, которыми мы
руководствуемся в жизни, что
убеждения астрономии или
идеалистической философии не
могут соперничать с ними в грубой
психологической силе. Именно
потому, что научное убеждение
основано на истинах, на
умозаключениях, оно не исходит, не
должно исходить из глубины души и
носить призрачный характер. В
самом деле, это убеждение сводится
к чисто рассудочному одобрению,
полученному в результате

определенных доводов в отличие от веры и других жизненных верований, идущих из глубины-души. Подлинно научное убеждение приходит извне - так сказать, из вещей, расположенных на периферии нашего Я. Там, на этой периферии находится разум. Разум не принадлежит глубинам нашего существа. Напротив. Подобно чувствительной, снабженной щупальцами оболочке, он покрывает ваше внутреннее содержание. Итак, подобно оболочке, он заключает в себе нашу внутреннюю сущность, обратившись к вещам, бытию, ибо его роль сводится к тому, чтобы

думать о вещах, о бытии; не быть бытием, а отражать его, как в зеркало. Разум настолько не является нами, что он один и тот же у всех, хотя у одних его больше, чем у Других. Но то, что есть, у всех одинаково: 2 и 2 для всех 4. Поэтому Аристотель и последователи Аверроэса считали, что во вселенной присутствует один поив, или разум, что все мы, обладая разумом, представляем один и тот же разум. То, что нас отличает, находится за ним. Однако оставим столь сложный вопрос. Сказанного достаточно для понимания того, что разуму нечего пытаться выиграть, состязаясь в

убеждении с иррациональными
обыденными верованиями. Если
ученый отстаивает свои идеи с
верой, не уступающей жизненной
вере, его наука сомнительна. В
романе Барохи один персонаж
говорит другому: "Этот человек
верит в анархию, как в Пречистую
Деву дель Пилар", - на что третий
замечает: "Во все верят одинаково".

Точно так же голод и жажда на пищу
и питье психологически будут всегда
сильнее, будут нести в себе больше
грубой психологической силы, чем
голод и жажда на справедливость.
Чем возвышенней деятельность
организма, тем она слабей,

неустойчивей, не продуктивней. Вегетативные функции отказывают реже сенситивных. Как утверждают биологи, быстрее и легче вид утрачивает именно те функции, которые приобретены позднее, т. е. функции более сложные и более высокого порядка. Иными словами, то, что дорого стоит, всегда подвергается большей опасности. Во власти конфликта, депрессии или страсти мы всегда готовы потерять разум. Словом, наш разум держится на булавке. Или иными словами, самый разумный разумен только... временами. То же можно сказать о нравственном чувстве и

художественном вкусе. По самой своей природе высшее в человеке менее действенно, чем низшее, менее твердо, менее обязательно. С этой идеей следует подходить к пониманию всеобщей истории. Чтобы осуществиться в истории, высшее должно дожидаться, пока низшее освободит ему пространство и предоставит случаи. Иными словами, низшее ответственно за реализацию высшего: оно наделяет его своей слепой, но несравненной силой. Поэтому разум смирив гордыню, должен принимать во внимание, пестовать иррациональные способности. Идея

не в силах противостоять инстинкту; ей следует не торопясь, осторожно приручать, завоевывать, зачаровывать его - в отличие от Геракла не кулаками, которых у нее нет, а подобно Орфею, обольщавшему зверей, - волшебной музыкой. Идея... женского рода и пользуется извечной тактикой женщин, которые в отличие от мужчин во идут напролом, а утверждаются исподволь, создавая особую атмосферу. Женщина действует через мягкое внешнее бездействие, терпеливо уступая; как говорил Геббель: "Для нее действовать значит страдать". Так же и идея. Греки допустили серьезную

ошибку, полагая, что идея осуществляется только благодаря своей ясности и через нее, что Логос, что слово само по себе просто так становится плотью. За пределами религии - это магическое верование, а историческая действительность, к несчастью или счастью, не магия.

Вот в силу каких причин, которые мы пока едва затронули, я советую новичку в философии не слишком принимать ее всерьез, пусть лучше он подходит к пей в том же расположении духа, в котором занимается спортом или предается игре. По сравнению с самой жизнью, теория - игра, в ней нет ничего

пугающего, тяжелого, серьезного.
"...Человек же, как мм говорили раньше, это какая-то выдуманная игрушка Бога, и по существу это стало наилучшим его назначением. Этому-то и надо следовать: каждый мужчина и каждая женщина пусть проводят свою жизнь, играя в прекраснейшие игры, хотя это и противоречит тому, что теперь принято".

Вот, господа, еще одна шутка, которую я бросаю на ветер. Жаль только, что хотя я ее произнес, не я ее выдумал, выразил и записал. Прочитанные мной слова, начиная с "человек, как мы говорили раньше,

это какая-то игрушка в руках Бога...", принадлежат не кому-нибудь, а самому Платону. И они написаны не между делом, не походя, а несколькими абзацами ниже того места, где говорится, что предмет, о котором пойдет речь, из тех, что требуют предельной осмотрительности от человека столь преклонных лет. Это один из редких отрывков, в которых Платой, почти всегда скрытый за собственным текстом, раздвигает, как радужный занавес, блестящие строки своего произведения и предстает перед нами во всем величии. Эти слова взяты из VII книги "Законов",

последнего, незавершенного труда Платона, склонившись над которым он встретил подругу-смерть, навеки заключившую его в свои объятия.

Но это еще не все: чуть раньше Платон с редкой настойчивостью заявляет, что собирается определить тот душевный склад, настроение или, на современном языке, гамму чувств, которые должны лежать в основе жизни любого воспитанного человека. Хотя греки менее всего обращали внимание на то, что мы называем "психология", и мы еще увидим - почему, Платон здесь гениально угадал одно из ее последних открытий, согласно

которому вся наша внутренняя жизнь развивается, словно из почки, из главной эмоциональной тональности, которая у всех различна и составляет основу характера.

Любая из наших конкретных реакций определяется этим эмоциональным фоном: у одних - уныние, у других - радостью, у одних - подавленностью, у других - уверенностью. Так вот, чтобы получить воспитание, человек должен приобрести необходимый душевный склад, который будет выполнять в его жизни ту же роль, что киль у судна, с которого .начинает спой труд корабельщик, - употребляет он сравнение берегового

жителя. Сочиняя эту книгу, Платон представляет себя кораблестроителем. Киль культуры, душевный склад, которой ее поддерживает, придает ей равновесие, и есть эта серьезная шутка, точная шутка, напоминающая силовую игру, спорт, - если, подобно мне, понимать последний как усилие, но усилие, в отличие от работы не навязанное, не преследующее выгоды, а проявляющееся свободно, как роскошь, которую нам нравится себе позволять, которая приятна сама по себе. Как говорил Гете:

Песнь, льющаяся из груди,

Лучшая награда для певца.

Культура рождается и живет, цветет и приносит плоды в добром - жизнерадостном - расположении духа. Серьезность придет позднее, когда мы овладеем культурой или той ее формой, к которой мы имеем отношение, в данном случае - философией. Но пока - жизнерадостность. К тому же нельзя сказать, чтобы этот душевный склад не пользовался уважением; припомните, что гениальность - то состояние духа, в котором пребывал он, Юпитер. Воспитывая в себе

жизнерадостность, мы подражаем олимпийцу Юпитеру.

В Платоне на склоне лет вновь расцвела ирония его учителя Сократа. И эта ирония, эта столь действенная двусмысленность принесла самые ироничные плоды: случилось так, что по спискам, в которых дошли до нас последние книги Платона, можно заметить, что переписчик уже не знал, когда писать "palclela", "культура", а когда - "palala", "шутка"*.

Итак, нас приглашают всего лишь поиграть в игру со строгими правилами, ведь именно в игре человек особенно точен. Эта жизнерадостная

умственная точность в есть теория, а как я уже сказал, бедняжка-философия не более чем теория. Но мы уже знаем из "Фауста":

Теория, друг мой, суха,

Но зелено вечное дерево жизни.

Серый цвет аскетичен. Такова его символика в обыденном языке, на этот символ и намекает Гете. Самое большее, на что способен цвет, не желающий быть цветом, - стать серым; зато жизнь представляется зеленым деревом - какая экстравагантность! - вдобавок это зеленое дерево жизни оказывается

золотым - еще большая
экстравагантность. Элегантное
желание предпочесть серый цвет
чудесной и противоречивой цветовой
экстравагантности жизни приводит
нас к теоретизированию. В теории
мы обмениваем реальность на тот ее
аспект, каким являются понятия.
Вместо того чтобы в ней жить, мы о
ней размышляем. Как стать, не
скрывается ли за этим явным
аскетизмом и удалением от жизни,
каким является чистое мышление,
наиболее полная форма
жизненности, ее высшая роскошь!
Как знать, не обогащает ли,
•размышление о жизни

бесхитростную жизнь великолепным стремлением пережить ее!

Следуя принятой у мистиков тактике нагнетания драматизма, я должен сказать, что мы завершили второй круг и готовы вступить в третий. Однако этот новый круг качественно весьма отличен от двух предшествующих. Мы определили то, что пытаемся построить под именем "философия", как определяют замысел или цель. Мы сказали, что это познание Универсума и что философское мышление в силу неограниченности и радикального проблематизма своей темы обязано соблюдать два закона или

обязательства: быть автономным, не признавая ни одной истины, полученной со стороны, и соблюдать закон пантономии, решительно не довольствуясь ни одним положением, которое не выражало бы универсальных ценностей, короче, не вдохновлялось Универсумом.

Это единственный итог последних четырех лекций. Все остальное было сказано мною, только чтобы пояснить и осмыслить эту лаконичную концепцию. Поскольку другие упомянутые нами вещи сами по себе нас не интересовали, мы рассуждали о них туманно, едва ли не в форме простого упоминания.

Мы рассуждали о них издали, косвенно, по слухам. Я хочу сказать, что не мы: ставили обсуждаемые нами вопросы, они сами вставляли перед нашим разумом. Мы говорили о разных вещах, однако не помещали эти вещи перед собой, чтобы увидеть их непосредственно такими, каковы они есть. Стало быть, говоря о том, чего мы не видели перед собой, мы говорили более или менее вслепую, не располагая очевидностью. А теория в действительности истинна тогда, когда строится на очевидностях и исходит из них. Теория состоит из сочетаний, из понятий, из того, что мы называем

суждениями или предложениями, если вам угодно - из высказываний. В этих высказываниях мы говорим, что такие-то вещи являются такими, а не другими. Итак, высказывание истинно, если мы можем соединять то, что в нем говорится, с самими вещами, о которых это говорится. Для начала истина - это совпадение того, что говорится о вещи, с той вещью, о которой это говорится. Сама вещь присутствует перед нами в видении, будь то чувственное видение, если вещь чувственна, - скажем, цвета в звуки, будь то нечувственное видение, если вещь сама по себе не чувственна, как,

например, ваши внутренние состояния - радость и печаль - или же геометрический треугольник, справедливость, благо, отношения и т. д., и т. п. Итак, высказывание истинно настолько, насколько вещи, о которых мы говорим, можно увидеть. И когда мы признаем какое-либо высказывание истинным, основываясь на том, что видим то же, что понимаем под смыслом этого высказывания, это последнее является очевидной истиной. Очевидность не чувство, побуждающее нас согласиться с одним высказыванием и отвергнуть другое. Наоборот, когда она сводится

к чувству, то, кто бы ни требовал от нас признать истинность какого-либо предложения, оно ложно. Очевидность не имеет никакого отношения к чувствам, можно сказать, она едва ли не противоположна чувству, которое по своей природе слепо, и слепо не из-за болезни или несчастного случая, а от рождения. Радость или печаль, восторг или тревога, любовь или ненависть слепы, ибо у них нет глаз, как нет их у камней и растений. Когда говорят, что любовь "слепа", то говорят сразу множество несуразностей, одна из которых состоит в том, что эта метафора

рисует нам любовь с повязкой на глазах, как будто та могла бы видеть, по ослепла. Так вот, любовь отличается не слепотой, а тем, что у нее нет и никогда не было глаз.

Очевидность - это, напротив, признак, который приобретают наши суждения или высказывания, когда то, что мы утверждаем, мы утверждаем потому, что это видим. Однако не следует цепляться за слова "видеть", "видение", ожидая от них ясности и строгости, которыми они не обладают. От них нам остается лишь одно: мы говорим, что видим какой-либо цвет, если объект, называемый цветом, присутствует

непосредственно, так сказать, лично перед нами; напротив, если мы не видим какого-либо цвета, 'но думаем о нем, к примеру, если мы сейчас думаем о бледно розовом цвете песков Сахары, то этот цвет непосредственно не присутствует. Его нет перед нами, есть только наша мысль о нем, наше ментальное обращение к нему. Так вот, в видении нам важно именно то, что оно служит наиболее явным примером нашего субъективного состояния, в котором объекты присутствуют перед нами непосредственно. Еще одним примером •служит слух: звук непосредственно присутствует в

нашем слышании. Вообще все чувствительные функции относятся к различным видам непосредственного предъявления. Позитивизм справедливо стремился свести строгое познание к тому, что присутствует перед нами; он ошибался в том, что произвольно считал непосредственным присутствием только присутствие чувственных объектов: цветов, звуков, запахов, осязаемых качеств. Позитивизм был прав в своем требовании "позитивного", т. е. присутствия самого объекта, но он не получил его, ибо свел все к сенсуализму. И он был узок даже как

сенсуализм; с тех пор у человека открыли немало "новых" чувств. Старый позитивизм традиционно довольствовался пятью. Как оказалось, их перечень теперь расширился, а человек располагает по меньшей мере одиннадцатью чувствами. К тому же позитивизм виновен в создании порочного круга. Ибо он заявляет: "Можно сказать, что нечто действительно существует только в том случае, если оно перед нами присутствует, а под присутствующим я понимаю чувственное". Обратите внимание па то, что быть чувственным и присутствовать перед нами - два

совершенно разных представления. Цвет и звук чувственны не потому, что иногда они присутствуют перед нами, а в силу чувственного свойства цвета и звука. Зато справедливость и чисто-геометрический треугольник, пусть даже лично присутствующие перед вами, невозможно чувственно воспринять, ощутить именно потому, что они не содержат в себе ни цвета, ни запаха, ни шума. Позитивизм должен был доказать, что непосредственно-присутствовать способны лишь чувственные объекты, и в этом случае был бы прав. Однако он с самого начала произвольно-утверждает в качестве

принципа то, что требует доказательств. Таким образом, совершив предвосхищение основания, он попадает в порочный круг, или круг в доказательстве.

Я повторяю, присутствие и чувственность - две идеи, не имеющие между собой ничего общего. Первая говорит нам о некотором способе нахождения предметов перед нами, а именно непосредственном присутствии в отличие от других способов нахождения предметов по отношению к нашему разуму - например, от репрезентации как образа некоторого предмета, в

котором присутствует не он сам, а его копия или дубликат, его образ. П свою очередь, чувственность - это один вид предметов; в отличие от других она никак не подразумевает способа нахождения. этих предметов по отношению к нам. И поскольку было бы ошибкой просить нас увидеть звук или услышать цвет, то более серьезной ошибкой того же толка было бы отрицание возможности непосредственного присутствия того, что по - самой своей природе нечувственно. Уже Декарт указывал, что- никто не способен видеть многоугольник с тысячей сторон - ни на одну сторону

больше или меньше - и тем не менее он, несомненно, может присутствовать перед нами точно так же, как и простой квадрат.

Доказательством служит то, что мы "точи" представляем себе смысл слова "тысячеугольник" и никогда не спутаем его с многоугольником с большим или меньшим числом сторон.

Стало быть, мы должны сохранить позитивистское требование непосредственного присутствия, освободив его от позитивистской узости. Признание истинности наших рассуждений о любом объекте требует его присутствия, однако это

присутствие должно соответствовать характеру объекта. Следовательно, речь идет о существенном расширении позитивизма; как я уже говорил несколько лет назад в одном из очерков, о современной философии можно сказать, что "в отличие от ограниченного частичного позитивизма она является позитивизмом абсолютным". И этот абсолютный позитивизм, как мы увидим, впервые исправляет а преодолевает порок, которым в большей или меньшей степени.

Пострадала философия всех времен: сенсуализм. Иногда философия была

сенсуалисткой по букве и по духу, как например, почти вся английская философия. Иногда она .стремилась освободиться от сенсуализма, однако обречено влачила его за собой, как раб свои цепи, - даже у самого Платона, у самого Аристотеля. В противном случае проблема универсалий не приобрела бы такого огромного значения в средние века. Однако оставим этот вопрос в стороне.

Сейчас необходимо подчеркнуть, что строгой теоретической истиной может быть только истина, основанная на очевидности, а это означает, что говорить о вещах можно

лишь тогда, когда мы их видим; а чтобы мы их видели, они должны непосредственно присутствовать таким способом, который соответствует их сути. Поэтому мы будем говорить не о видении, из-за узости этого термина, а об интуиции. Интуиция - самая немистическая и всемагическая вещь на свете; она означает просто такое состояние ума, при котором некоторый объект присутствует перед нами. Стало быть, должна существовать как чувственная интуиция, так и интуиция нечувственная.

Есть интуиция оранжевого цвета, есть интуиция апельсина, есть

интуиция сферической фигуры. Во всех этих случаях, как и всегда, когда оно произносится, слово "интуиция" означает "непосредственное присутствие". Сравним теперь способ присутствия перед нами этих трех объектов: цвета, апельсина и сфероида.

В световом спектре, развернутом призмой, можно отыскать глазами цвет, который мы мыслим как "оранжевый". В этом случае мы явно обнаруживаем этот цвет в вашем видении, и в нем интуитивно осуществляется, реализуется, исполняется наша чистая мысль об "оранжевом цвете". Поскольку, думая

об этом цвете, мы думаем лишь о нем и обнаруживаем то, о чем мы думаем, "в наличии" перед нами, а в нашем понятии "оранжевого цвета" нет ничего сверх того, что мы видим, то можно сказать, что понятие и видимая вещь полностью совпадают или, иными словами, что наша интуиция является полной и адекватной.

С объектом "апельсин" дело обстоит иначе. Что именно мы мыслим или к чему мы мысленно обращаемся, думая об апельсине? У этой вещи множество атрибутов: помимо цвета она имеет твердую сферическую поверхность, состоящую из более

или менее прочной материи.

Апельсин, о котором мы думаем, имеет наружность и внутренность и, будучи твердым сфероидом, должен состоять из двух половин, или полушарий. Можем ли мы в действительности все это видеть?

Вскоре мы начинаем понимать, что всякий раз способны видеть одну половину апельсина, половину или полушарие, обращенное к нам. В силу неизбежного закона зрения обращенная к нам половина апельсина закрывает другую, находящуюся за ней половину. Мы можем подойти к апельсину сзади и увидеть эту другую половину,

осуществить другой акт видения, отличный от первого. Но тогда мы не будем видеть первую половину. Мы никогда не сможем увидеть их одновременно. Кроме того, мы видим апельсин пока только снаружи, его поверхность скрывает то, что находится внутри. Мы можем нарезать апельсин слоями и в новых визуальных актах увидеть, что у него внутри, однако эти срезы никогда не будут настолько тонки, чтобы мы со всей строгостью могли утверждать, что видели весь апельсин таким, каким мы его мыслим.

Отсюда со всей очевидностью следует, что, говоря, что мы видим

апельсин, мы совершаем ошибку. То, что мы думаем о нем, мы никогда не обнаруживаем ни в одном, ни во многих частичных видениях. То, что мы думаем о нем, всегда больше того, что имеется в присутствии; наше понятие о нем всегда предполагает нечто, отсутствующее в нашем видении. А это означает, что наша интуиция апельсина, как и всех телесных вещей, неполна и неадекватна. К тому же, как мы убедились, мы можем в любой момент добавить к ней новое видение какой-либо вещи, мы можем отрезать тончайший кусочек апельсина и обнаружить то, что

ранее было скрыто, - но это свидетельствует лишь о том, что интуицию тел, материальных предметов всегда можно бесконечно совершенствовать, и все же она никогда не будет полной. Эту неадекватную, но всегда допускающую улучшение, всегда приближающуюся к адекватной интуицию мы называем "опытом". Поэтому о материальных объектах можно иметь только опытное знание, т. е. только приблизительное и всегда допускающее большее приближение.

Цвет не был телом, материальной вещью. Он был только цветом - если абстрагироваться от несущей его

вещи, от материи, дающей ему физическое существование. Мы можем видеть его целиком лишь потому, что это абстрактный предмет.

Теперь рассмотрим третий из предложенных предметов: геометрический круг. Мы сразу же сталкиваемся с тем, что ни. один из кругов, которые материально существуют или могли бы быть построены, - кругов, нарисованных на досках политехнических институтов и в книгах по геометрии, - никогда со всей строгостью и точностью не воплощает наше понятие круга. Таким образом,

предмет "круг" невозможно увидеть в чувственной форме, своими глазами. Однако же он, несомненно, присутствует перед нами. Но если мы получили представление о круге не от кругов, которые мы видели, то откуда мы о нем узнали? Понятия не изобретаются, не возникают из ничего. Понятие, или идея, - это всегда идея о чем-то, а это нечто должно сначала так или иначе предстать перед нами, чтобы затем мы могли его мыслить. Даже если бы мы умели творить из ничего, все равно нам прежде нужно было бы создать предмет, затем иметь его в присутствии и лишь затем его

мыслить. В действительности мы обладаем непосредственной интуицией круга; в любой момент мы можем найти его перед собой, не обращаясь ни к какому образу, который будет лишь приблизительным, и можем сравнить наше понятие круга с самим кругом. Анализ того, в чем состоит эта нечувственная, или чистая, интуиция математических объектов, занял бы довольно много времени. Достаточно выяснить следующее: для начала круг - это линия; так вот, под линией мы понимаем бесконечный ряд точек. Какой бы ограниченной и короткой ни была линия, мы мыслим ее как

бесконечное множество точек. Тогда что означает "бесконечное множество точек"? Мысля это понятие, сколько точек мы мыслим? Нам ответят: "Именно бесконечное множество". Простите, но наш вопрос заключается в следующем: когда мы мыслим "бесконечное" множество точек, думаем ли мы действительно о каждой точке в отдельности и обо всех, вместе взятых, составляющих эту бесконечность? Разумеется, нет. Мы мыслим только конечное число точек, полагая, что всегда можем домыслить еще одну точку, а затем еще и еще одну, и так без. конца.

Отсюда следует, что, мысля
бесконечное число, мы думаем о том,
что никогда не сможем положить
конец нашему размышлению, что
понятие бесконечности
подразумевает признание того, что
оно не содержит всего, что оно
пытается содержать, или, иными
словами, объект, который мы
мыслим, - бесконечное, - выходит за
пределы нашего понятия о нем. Но
это означает, что, мысля
бесконечное, мы всегда сравниваем
наше понятие с самим бесконечным
объектом, стало быть, с его
присутствием, а сопоставив их,
обнаруживаем, что наше понятие

оказывается недостаточно широким. В случае с интуицией математического континуума - например, линии - мы видим, что интуиция, то, что присутствует, не совпадает с понятием: однако в отличие от случая с апельсином здесь интуиция предлагает не меньше, а больше того, что содержалось в мышлении. И действительно, интуиция континуума, того, что мы называем "бесконечным" и мыслим как "бесконечное", не сводима к понятию, к *logos* или *ratio*. То есть континуум иррационален, трансконцептуален или металогичен.

В последнее время рационализм пытался тешить себя иллюзиями - а рационализм в сущности и есть высокомерная иллюзия - возможности свести математическую бесконечность к понятию, с помощью чистой логики необычайно расширил область математической науки в полном соответствии с бесцеремонным империализмом XIX в. Это расширение было получено ценой слепоты к самой проблеме, и только потерпев крах в решении некоторых основных противоречий - знаменитая "антиномия множеств", - математики вновь обрели здравый

смысл и от так называемой математической логики обратились к интуиции. Это чрезвычайно важное событие происходит в эти годы, в эти месяцы. Новая математика признает частичную иррациональность своего предмета, т. е. принимает собственную неповторимую судьбу, оставляя логике ее судьбу.

Итак, мы остановились на том, что математические объекты, включая самый необычный и загадочный из них - континуум, непосредственно присутствуют перед нами; мы находим их либо в адекватной интуиции точно такими, какими мы их мыслим, либо в интуиции с более

богатым содержанием, чем мыслимое вами. Но там, где присутствует большее, присутствует и меньшее. Чтобы со всей очевидностью признать истинность наших предложений, на первое время достаточно, чтобы все, что в них мыслится, входило в интуицию. Строго говоря, в интуиции всегда содержится больше того, что мы мыслим. Так, в простейшем из разобранных нами трех случаев, в случае с "оранжевым цветом", цвет, который мы видим, всегда будет иметь оттенок, не определенный нашим понятием, оттенок, который нельзя ни помыслить, ни назвать.

Дело в том, что между красным и желтым цветом оранжевая лента являет буквально бесконечное разнообразие оранжевых оттенков. Спектр - это также континуум, хотя не математический, а качественный.

Итак, обо всем присутствующем в адекватной интуиции можно говорить не просто приблизительно, а в соответствии со строгой истиной, т. е. в данном случае наше знание является точным и достоверным раз и навсегда. Именно это называется в философии почтенным, хотя несколько смешным и даже неуклюжим выражением: знание *apriori*. В этом смысле математика

является знанием *apriori*, а не экспериментальным, или эмпирическим, знанием, как, например, знание об апельсине. -Так как последний никогда не открывается взгляду целиком, всегда оставляя что-то не увиденным, наше знание о нем до времени должно придерживаться виденного, осознавая его не окончательность таким образом, это знание ограничено каждым новым видением, связано к относительности каждого наблюдения, следует за ним т. е. является знанием *aposteriori*. Треугольник же, напротив, предстает перед нами полностью в любой из

построенных на интуиции. Он заключен в ней весь целиком, ничего не тая, образцовой обнаженности, явный даже в скрытом. Наше мышление могло бы веками шаг за шагом продумывать все теоремы, которые можно извлечь только из одной интуиции треугольника. Такой целью нам придется раз за разом бесконечно обновлять у интуицию, однако последняя интуиция ничего не добавит к первой.

Радикализм философии не позволяет ей признать иную форму истинности своих высказываний, чем полная очевидность, основанная на адекватных интуициях. Вот почему

было необходимо целиком посвятить эту лекцию теме интуитивной очевидно лежащей в основе самой характерной для нашего времени философии. Не думаю, чтобы столь сложный вопрос можно было изложить короче. Но самое трудное позади, и я надеюсь - не утверждаю, а надеюсь, - что оставшаяся часть курса будет напоминать пологий и удобный спуск к более волнующим и более близким нашему сердцу темам. К тому же необходимость этих замечаний об очевидности вызвана тем, что, как я уже говорил, мы собираемся вступить в новый круг, который отличается от предыдущих

тем, что мы будем говорить о вещах с обязательным условием видеть их, пока мы о них рассуждаем. Ведь если до сих пор мы только готовились войти в философию, теперь мы начинаем философствовать - так, прежде чем зазвучит настоящая 'музыка, из оркестра несутся вразнобой нестройные звуки настраиваемых инструментов.

Пройдя еще один виток спирали и оказавшись над исходной точкой нашего пути, мы снова слышим лейтмотив определения философии. Повторим его. Философия - это познание Универсума, или всего

имеющегося. Надеюсь, теперь эти слова звучат со всем интеллектуальным пылом, во всем своем размахе и драматизме. (Нам уже известен радикализм нашей проблемы и предъявляемых к философской истине требований. Первое из них - не принимать в качестве истины ничего непроверенного и неподтвержденного, ничего того, что не имеет основания, построенного вами самими. Таким образом, мы оставляем в стороне наши привычные, общепринятые верования, образующие допущение, или родную почву, опираясь на

которую мы живем. В этом смысле философия противоестественно и, так сказать, в корне парадоксальна. "Доха" - это стихийное обыденное мнение; более того, это "естественное" мнение. Философия обязана отмежеваться от него, идти дальше или спуститься ниже, чтобы найти другое мнение, другое "Доха", более надежное, чем мнение стихийное. Поэтому она и состоит из *paradoxa*.

Если наша проблема состоит в познании всего имеющегося, или Универсума, то прежде всего нам нужно определить, относительно каких вещей, которые, возможно,

имеются, можно быть уверенными, что они имеются. Вероятно, в Универсуме имеется множество вещей, о существовании которых мы ничего не знаем и никогда не узнаем, или, наоборот, о многих других вещах мы полагаем, что они имеются в Универсуме, но ошибаемся; т. е. они на самом деле имеются не в Универсуме, а только в наших иллюзорных верованиях. Томящийся от жажды караван уверен что видит в глубине пустыни дрожащую линию, где искрится свежая вода. Но этой благодатной воды в пустыне нет, она существует лишь в воображении каравана.

Итак, нужно различать эти три класса вещей: те, что, возможно, имеются в Универсуме, известно нам о них или нет; те, что мы ошибочно считаем имеющимися, однако в действительности их нет; и наконец, те, относительно которых можно быть уверенными, что они имеются. Эти последние будут иметься как |в Универсуме, так и в нашем сознании. Итак, они и есть то, кто нам бесспорно дано в Универсуме, короче, данные Универсума.

Любая проблема предполагает наличие данных. Данные - это то, что не является проблемой.

Традиционным примером, к которому мы ранее обращались, служит погруженная в воду трость: согласно данным осязания, трость представляется прямой, согласно же данным зрения - изломанной.

Проблема возникает в той мере, в какой эти два факта не составляют проблемы, являясь действительными и несомненными. В этом случае нам открывается их противоречивый характер, а он, как мы видели, и составляет любую проблему. Данные показывают искаленную, ущербную реальность, они представляют нам нечто такое, что, на наш взгляд, не может быть таким,

каково оно есть, что противоречит самому себе. Реальность, в которой трость одновременно и прямая и изломанная. Чем она очевиднее, тем неприемлемей, тем большей проблемой она является; большим не-бытием.

Чтобы размышлять, нужно иметь проблему, а чтобы была проблема, нужны данные. Вели нам что-то не дано, нам и в голову не придет об этом или над этим размышлять; а если нам дано все, нам также незачем размышлять. Проблема предполагает промежуточное состояние: чтобы нечто было дано, но данное было неполным,

несамодостаточным. Если мы о чем-то не знаем, не можем знать о его недостаточности, его неполноте, о том, что вам не хватает других "нечто", постулируемых тем, что у нас В имеется. Это и есть осознание проблемы. Знание того, что эти знания неполны, знание о нашем незнании. Строго говоря, в этом и кроется глубокий смысл "знания о незнании", которое Сократ считал своей единственной заслугой. Так оно и есть. Ведь на начинается с осознания проблемы.

Поэтому Платон задает вопрос: какое существо способно к сознательной деятельности? Не животное, ибо оно

ни о чем нет, в том числе и о своем незнании. Но и не Бог, которому заранее известно все, так что ему незачем тратить усилия. Только промежуточное существо, стоящее между животным и Богом, наделенное незнанием, но и в то же время сознающее это незнание испытывает потребность вырваться из него, перейти от незнания к знанию. Это промежуточное существо - человек. Таким образом, это знание о своем незнании сообщает человеку особое величие, превращая его в божественное животное, отягощенное грузом проблем.

Поскольку наша проблема -
Универсум, или все имеющееся,
нужно установить, какие данные
Универсума мы обнаружили, иначе
говоря, что в мире имеется такого,
что нам наверняка и что нам незачем
искать. Искать нужно именно чего у
нас нет, что нам не дано.

Но каковы данные философии?
Другие науки с менее радикальной
истиной менее радикально
устанавливают свои данные. Однако
философия с первого же шага
должна довести до крайности свой
интеллектуальный героизм в
проявить высшую строгость. Вот

почему, хотя сами по себе данные не являются проблемой, в преддверии философии возникает огромная мучительная проблема данных Универсума, проблема того, что имеется бесспорно, несомненно.

Лекция VII

[Данные Универсума. -
Картезианское сомнение. -
Теоретическое первенство сознания.
- Уподобление Я соколу]

Как я уже говорил, для нас очень важно различать три класса вещей: те, которые, возможно, имеются в Универсуме, знаем мы о них или нет;

те, о которых мы ошибочно полагаем, что они имеются, тогда как в самом деле их нет; наконец, те, в которых мы можем быть уверены, что они имеются. Эти последние существуют как в Универсуме, так и в нашем сознании. Но в этом последнем классе вещей мы должны провести еще новое деление, которое я отложил в прошлый раз. Уверенность относительно существования предмета в Универсуме бывает двух видов: в некоторых случаях мы утверждаем, что предмет существует, основываясь на суждении, на доказательстве, на твердом и обоснованном заключении;

например, при виде дыма мы делаем вывод о наличии огня, даже если он нам не виден; разглядывая на стволе дерева фигуры определенной формы, мы приходим к заключению, что они начертаны либо человеком, либо таинственным насекомым, которое, ползая по коре, оставляет похожие на печатные буквы фигуры, в потому зовется жуком-типографом. Эта уверенность в существовании предмета, к которой мы приходим путем суждения, доказательства и рассуждения, основана па предварительной уверенности в существовании другого предмета. Например, утверждение о наличии

огня предполагает, что мы видели дым. Стало быть, для того, чтобы утверждать, основываясь на суждении или доказательстве, существование некоторых предметов нужно исходить из более полной и первичной уверенности в существовании других предметов, уверенности, которая не нуждается ни в доказательстве, ни в умозаключении. Ведь имеются вещи, существование которых возможно и необходимо доказывать, но это предполагает существование вещей, доказывать которое невозможно и не нужно, поскольку они сами являются своим доказательством. Доказывать

можно лишь то, в чем испытываешь сомнение, - но то, что не терпит сомнения, не нуждается в доказательствах и не допускает их.

Те вещи, существование которых несомненно, которые отмечают все возможные сомнения, уничтожают их, лишают их смысла, которые нельзя подвергнуть критике, представляют собой данные Универсума. Я повторяю: эти данные не единственное, что имеется в Универсуме, а также не единственное, что точно имеется, но то единственное, что имеется несомненно, чье существование основано на особой уверенности, на

уверенности несомненной, скажем -
на сверхуверенности.

Но эти данные Универсума мы
сейчас попытаемся обнаружить. Мне
пришло на память прочитанное
несколько лет назад стихотворение
современного поэта, нашего
соотечественника, Хуана Рамона
Хименеса:

В саду источник,
у источника химера,
у химеры возлюбленный,
который умирает от печали.

Из чего следует, что в мире, где есть сады, есть также и химеры, которым ничего не стоит довести до смерти прохожего поэта. Если их нет, как же мы говорим о них и отличаем их от других существ, определяем их облик вплоть до того, что создаем во в скульптурных изображениях у источников, бьющих в наших садах? И поскольку химера лишь представительница родственных видов, мы бы сказала, что имеются также кентавры и тритоны, грифы, фавны, единороги, пегасы и неистовые минотавры. "И скоро, возможно слишком скоро, мы разрешим химерический вопрос,

сказав, что речь идет о
фантаσμαгорическом племени,
которое существует не в Универсуме,
т. е. реально, а только в нашей
фантазии, или иллюзорно. Таким
образом, мы изымаем химеру из
реального сада, где она собирается
существовать наряду с лебедями и
кружить головы поэтам, и помещаем
ее в разуме. Там, как нам кажется,
подходящее место, которого хватит
для толпы химер и прочих чудесных
существ. Мы принимаем решение так
быстро, потому что существование
химеры вызывает столько сомнений,
его реальность так маловероятна, что
этот чай не стоит долгих

рассуждений, - хотя в глубине души остается глухая досада, досада, которую сейчас, назвав, я сотру из вашего сознания, потому чтобы, о чем мы сегодня говорим. .должно ни беспокоить вас, ни затрагивать всерьез. Эта досада весьма напоминает то, что много лет назад я говорил в защиту Кихота. Что ж, давайте смеяться, потому что Дои Кихот принимает мельницы за великанов! Что ж. Дон Кихот не должен видеть великана там, где стоит мельница! Но почему человеку известно о великанах? Где есть или были великаны? А если их в не было, выходит, что не Дон Кихот, а человек,

род людей в какой-то момент своей истории обнаружил великана там, не было, - т. е. какое-то время он сам был доподлинным Дон Кихотом, фантастическим Дон Кихотом. И действительно, тысячелетиями Универсум для человека состоял главным образом из великанов и химер: он был самым реальным из существовавшего, тем, что управляло его жизнью. Как это случилось, как стало возможным? Здесь наряду с любопытством сквозит досада, но она, повторяю, не имеет отношения к нашей проблеме. Можно было бы досадовать еще сильнее, но не стоит, потому что теперь мы не обсуждаем,

есть ли или могли бы быть химеры; то, что нас интересует, - точно ли они есть, и поскольку в их нетрудно усомниться, они не годятся нам в качестве основных данных Универсума.

Большую сложность представляет случай, когда физик убеждает нас, что в Универсуме имеются силы, атомы, электроны. Действительно ли несомненно то, что имеется? Тут же мы слышим, как физики спорят между собой об их существовании; это указывает, что, во всяком случае, в нем можно сомневаться. И даже если бы физики пришли к согласию и их единодушные ряды склоняли бы

нас поверить в реальное существование сил, которые мы не видим, незримых атомов и электронов, мы могли бы возразить следующим образом: атомы - объекты, существование которых, хотя и действительное, открывается для нас лишь после освоения всей теории. Чтобы существование атомов было истиной, нужно, чтобы сначала вся физическая теория была истиной. А физическая теория, пусть и истинная, представляет собой истину спорную, которая включает в себя и имеет основанием длинную цепь рассуждений, что соответственно влечет за собой

необходимость проверки.

Следовательно, она является не первичной, коренной истиной, но в лучшем случае относительной, производной. Это вынуждает нас сказать нечто похожее на то, что говорилось по поводу химеры, - что она имеется лишь в воображении, - а именно что реальное существование атомов сомнительно, что пока они имеются в теории, в мышлении физиков. Пока атомы - химера физики, и подобно тому, как поэты воображают химеру с когтистыми лапами, лорд Кельвин придаст шипы и когти атомам.

Существование атомов тоже вызывает сомнение, они не являются данными Универсума.

Обратимся в таком случае к тому, что более близко и менее проблематично. Пусть результаты всех естественных наук спорны, но, во всяком случае, вещи, которые окружают нас, которые мы видим и трогаем и которые естественные науки относят к действительным явлениям, несомненно существуют. Если и не существует химеры поэта, то по крайней мере и несомненно существует сад, реальный сад, видимый, осязаемый, обоняемый,

который можно купить и продать, по которому можно прогуливаться, подстригать в нем деревья. И однако, когда я нахожусь в саду и люблюсь первой весенней зеленью, мне случается закрыть глаза, и, как по мановению волшебной палочки, сад исчезает - вмиг, сразу уничтожается, изымается из Универсума.

Смежая веки, мы, как гильотиной, напрочь отсекаем его от мира. От него не остается ничего в реальности - ни песчинки, ни лепестка, ни листка. Но как только я снова открываю глаза - с той же быстротой сад является вновь, мгновенно, подобно трансцендентному

танцовщику, совершает прыжок из небытия к бытию и, не сохранив и следа своей временной гибели, вновь нежно обступает меня. То же самое произойдет с запахами сада, с его осязательными свойствами, если я переборю свои соответствующие органы чувств. И больше того: отдыхая в саду, я засыпаю и вижу сон, что нахожусь в саду, и во сне сад не кажется мне менее реальным, чем наяву. Сад в еврейско-египетской традиций означает "рай". Далее, если я приму определенные алкалоиды, я и наяву могу увидеть такие же сады. Это галлюципированный сад, "искусственный рай".

Галлюципированный сад не отличается сам по себе ничем от сада недлинного, т. е. они оба подлинны и равной степени. Возможно, все, что окружает меня, весь внешний мир, в котором я живу, - это лишь огромная галлюцинация. По всяком случае, его воспринимаемое содержание одинаково при нормальном и при галлюцинирующем восприятии. Но ведь характерным для галлюцинации является то, что ее объекта на самом деле нет. Кто поручится мне, что нормальное восприятие не таково? Оно отличается от галлюцинации лишь тем, что носит более постоянный характер и его

содержание относительно общее у меня и у других. Но это не дает оснований отрицать галлюцинаторный характер нормального восприятия; лишь позволяет нам сказать, что на самом деле восприятие действительности имеет характер не любой галлюцинации, а постоянной и общей - что, надо сознаться, хуже всякой другой.

Из этого следует, что так называемые данные органов чувств ни в какой степени не достоверны, и их существование само по себе ничего не гарантирует. Соответственно

жизнь есть сон, однообразный в
правильный, цепкий и будничный.

Сомнение, сомнение как метод, по
каплям, подобно кислоте, разъедает
крепость, надежность внешнего мира
и заставляет его улечиваться; или -
другой образ - сомнение, как
откатывающийся назад прибой,
несет с собой и топит в самом себе
весь окружающий вас мир со всеми
предметами и людьми, включая наше
собственное тело, которое мы
напрасно трогаем и щиплем, пытаясь
убедиться в том, что оно несомненно
существует, чтобы спасти его, -
сомнение жадно поглотило его, и вот
мы уже видим, как тело наше плывет

внизу, бездыханное, утонувшее.
Китайцы говорят об умершем: "тот,
что уплыл по реке".

Вам должна быть более чем понятна
серьезность полученного выводов.
Сказанное выше означает;
существование предметов, природы,
человеческих существ, всего
внешнего мира недостоверно,
поэтому не является исходным
данным, оно не несомненно в
Универсуме. Этот мир, который
окружает вас, который нас
поддерживает и защищает, который в
жизни кажется нам самым крепким,
надежным, эта земная твердь, в
которую мы бьем ногой, чтобы

доказать ее несокрушимость, оказывается существованием сомнительным, по крайней мере вызывающим сомнения. И раз это так, философия не может исходить из факта существования внешнего мира - из чего исходит ваша жизненная вера. В жизни мы принимаем без тени сомнения полную реальность наших космических подмошников, но философия, которая не может считать истиной то, что засвидетельствовано другой наукой как истинное, не может принять и того, во что верит жизнь. Вот вам превосходный и очень конкретный

пример того, в каком смысле философствовать означает не-жить, вот вам доказательство, почему философия по сути своей парадоксальна. Философствовать - это не значит жить, это значит добросовестно отречься от жизненных верований. Пусть это отречение может и должно быть лишь возможным, умственным, осуществляемым исключительно целью создания теории, оно само должно быть теоретическим. Наконец, именно поэтому мне кажется странным совершенно серьезно приглашать людей предаться философии. Можно ли

поручиться, что никто не окажется "убежденным", не сочтет всерьез, что внешний мир, возможно, не существует? Философское убеждение - не жизненное, это квазиубеждение, убеждение разума. И серьезность не оборачивается у философа высокомерием, а остается серьезностью как качеством, способностью выстраивать наши идеи, упорядочивать их.

Но во всяком случае известно следующее: философия начинается с заявления, что внешний мир не относится к исходным данным, что его существование сомнительно и что любой тезис, в котором

утверждается реальность внешнего мира, не очевиден, чуждается в доказательстве; в лучшем случае он требует для обоснования иных первичных истин. Чего, повторяю, философия, как известно, не делает, она не отрицает реальности внешнего мира, поскольку это было бы тоже довольно проблематичным начинанием. Точное выражение того, что утверждает философия, таково: ни существование, ни не существование мира вокруг нас совершенно не очевидны, стало быть, нельзя исходить ни из того, ни из другого, поскольку это означало бы исходить из того, что предполагается,

а философия взяла на себя
обязательство исходить только из
того, что полагается относительно
самого себя, т. е. на себя налагается.
Но вернемся к той драматической
ситуации, когда море-сомнение
мощными волнами отступающего
прибоя уносит наш мир, наших
друзей и вдобавок наше тело.

Что в таком случае остается в
Универсуме? Что тогда несомненно
имеется в Универсуме? Когда
сомневаешься в мире и во всем
Универсуме, что же остается?
Остается... сомнение - факт, что я
сомневаюсь: если я сомневаюсь,
существует ли мир, я не могу

сомневаться в том, .что сомневаюсь,
- здесь граница всего возможного
сомнения. Какой бы широкой ни
была сфера сомнений, они иногда
сталкиваются сами с собой и
взаимно уничтожаются. Вам нужно
нечто несомненное? Вот оно:
сомнение. Чтобы сомневаться во
всем, я должен не сомневаться в том,
что сомневаюсь. Сомнение возможно
лишь при условии собственной'
неприкосновенности: при попытке
обратиться против себя обломает
зубы.

Этим рассуждением,
представляющим лишь мизансцену
другой, гораздо большей мысли,

начинает Декарт современную философию. Это знают все, это одно из основополагающих сведений. Если я повторяю его здесь, как и другие кажущиеся а высшей степени известными вещи, встречавшиеся в первой половине этого курса, то по многим причинам, которые, возможно, я позже или в следующий раз смогу вам перечислить. Мы достигли уровня, на котором могут быть объявлены тайны этого-курса и открыты для посещений его подземные ходы. Поэтому я говорю то, о чем умалчивал в течение четверти века своей общественной жизни, а именно: я ее принимаю

такой общественной работы и вообще человеческой жизни во всей ее полноте,. которая не была бы подобна парижскому театру Опера, скрывающему под землей столько же этажей, сколько высится их над уровнем земли. И то, что это должен сказать муравей перед колоссальной фигурой Декарта, отца современности, как мы убедимся, не случайно.

По перейдем теперь к текущим вопросам.

Тот, кто думает, что Декарт положил начало новому времени ,каламбуром насчет того, что мы не можем

сомневаться в том, что сомневаемся,
- кстати, то же говорил и Св.

Августин, - не имеет ни малейшего
понятия об огромном новаторстве
картезианского мышления и в
результате не знает истоков
современности.

Следовательно, важно, чтобы мы
верно увидели, какие преимущества
имеет сомнение, чтобы в нем мы не
сомневались, другими словами,
почему в такой огромной и важной
вещи, как внешний мир, мы можем
сомневаться, и, напротив, о такую
мелочь, как само сомнение, копье
сомнения тупится. Когда я
сомневаюсь, то не могу сомневаться

в существовании моего сомнения;
тогда становится исходным данным,
несомненной реальностью
Универсума. Но почему? В том, что
существует этот театр, где я
разглагольствую, я могу сомневаться
- может быть, у меня сейчас
галлюцинация. Возможно, в юности,
когда может присниться что угодно, я
как-то увидел во сне, что говорю о
философии в театре- пред
мадридской публикой, и теперь
толком не знаю, сбывается ли сон в
этот момент или этот момент и есть
сон, а я - сновидец. Это значит, что
реальный мир и мир приснившийся
не различаются коренным образом

по своему содержанию, они соседствуют, разделенные лишь так, как в средние века шла молва о саде Вергилия: что он отделен от остального мира воздушной стеной. Без малейших изменений мы можем перенестись из реального в приснившееся, и в этом конкретном случае нет 'мнений, что заинтересовать в какой-то степени мадридцев философией было и есть заветным сном, мечтой моей жизни.

Стало быть я могу сомневаться в реальности этого театра, , но не в том что я сомневаюсь в нем; повторяю еще раз: почему? Ответ таков: сомневаться - это значит, что мне

кажется что-то сомнительным и недостоверным. Мне кажется и я думаю - одно и то же. Сомнение не что иное как мысль. Итак, чтобы сомневаться в существовании мышления, я должен поневоле мыслить это мышление, чтобы дать ему существование в Универсуме; тем же актом, которым я пытаюсь упразднить мое мышление, я его осуществляю. Другими словами: мышление - единственное в Универсуме, существование чего нельзя отрицать, поскольку отрицать значит мыслить. Вещи, о которых я думаю, могут не существовать в Универсуме, во то, что я о них

думаю, несомненно. Я повторяю:
быть сомнительным - значит
казаться мне сомнительным, и все в
Универсуме может казаться мне
сомнительным - кроме того, что это
мне кажется. Существование этого
театра проблематично, поскольку я
понимаю под этим то, что он
стремится быть независимым от
меня, что, когда я закрываю глаза и
он перестает существовать для меня
или во мне, он продолжает на свой
страх и риск быть вне меня, отдельно
от меня, в Универсуме, т. е. что он
существует в себе. Но мышление
обладает таинственным
преимуществом, его существование,

то, чем оно стремится быть, сводится к тому, что мне кажется, к существованию для меня. И поскольку я пока что состою лишь из своих мыслей, скажем, что мышление - то единственное, в чем его собственная сущность, то, что оно представляет собой реально, состоит лишь в том, чем оно является для себя. Оно то, чем кажется и ничего больше; кажется же оно тем, что есть. Оно исчерпывает свою сущность в собственной видимости. В отношении театра ситуация обратная: то, чем театр является или стремится быть не исчерпывается его видимостью,

зримой для меня. Напротив он стремится существовать и тогда, когда я его не вижу, когда я не появляюсь, когда я не присутствую. Но мое видение есть нечто исчерпывающее его экзистенциальное стремление казаться мне, когда я смотрю, мое зрение присуще мне, оно явно и непосредственно. И если сейчас я страдаю галлюцинацией, значит этот театр не существует реально, но вид театра отнять у меня никто.

Из чего следует, что лишь мышлению дан весь Универсум. И пои этом дан несомненно, поскольку состоит лишь в данности бытия поскольку

является чистым присутствием,
чистым явлением чистой
кажимостью для меня. Это
великолепное, решающее открытие
Декарта, которое, подобно Великой
Китайской.-не делит историю
философии на две части; античность
и середине века осталась по ту
сторону ее, по эту сторону - то. что
составляет новое время. Но
сказанное ни в какой мере не
удовлетворяет меня. Как вы видите
печь идет об очень важном
положении - о теоретическом
первенстве разума, духа, сознания. Я,
субъективности как о явлении
универсальном: это первичное

явление Универсума. Итак, следует помнить, что это главная идея, которую новое время прибавило к сокровищнице Греции. Она заслуживает, чтобы мы остановились на ней и добивались предельной ясности. Поэтому простите, что я не раз буду возвращаться к атому вопросу, ища различные формулировки, чтобы один за другим мы все пришли бы к полному пониманию того, что такое разум, сознание, мышление, субъективность, дух, Я.

Мы ищем исходные данные Универсума. Но кому предназначены эти данные?

Естественно, познанию. Это данные для познания Универсума, то, что оно должно принять во внимание, чтобы исходить из него и искать то, чего, возможно, не хватает. И когда же мы можем сказать, что познанию дано нечто? Очевидно, когда это нечто полностью войдет в наше сознание, когда оно ясно предстанет перед нашим пониманием, лишенное тайн и сомнений, когда наше познание бесспорно освоит его. Итак, чтобы я познал нечто, необходимо, чтобы это нечто продемонстрировало мне свою целостность, предстало таким, каково оно есть, каким оно

стремится быть, чтобы не оставалось ничего тайного в его сущности. Итак, очевидно, что все то, чье бытие, чье существование стремится к бытию и существованию, пусть не представляя передо мной, не является данным. Но это происходит со всем, что не является моим собственным мышлением, моим собственным разумом. Присутствовать при чем-то значит каким-то образом вобрать в себя, обдумать. Все, что отличается от моего мышления, стремится быть и существовать вне моего мышления, т. е. вне моего присутствия. Пусть я отсутствую. Но мышление - поскольку это не что иное, как вещи,

которые предстают передо мной
лишь когда предстают, которые я
вижу лишь когда вижу, слышу лишь
когда слышу, воображаю лишь когда
воображаю, выдумываю лишь когда
выдумываю - существуют само по
себе, будучи в полной моей
собственности. Если я "Таю, что
дважды два пять, я заблуждаюсь, но
то, что я думаю, есть истина.

Мышление, - это исходное данное,
поскольку мышление
придерживается всегда само себя,
является единственным, существует
само для себя и состоит в этой
встрече с самим и. Теперь мы видим,
почему каламбур относительно

сомнения -это только каламбур, точная, острая формулировка и гораздо более широкой идеи. Не потому, что своеобразие сомнения делает невозможный сомнение в нем, а потому что сомнение представляет собой один из видов мышления. То же, о сомнении, мы можем сказать о нашем зрении, слухе, воображении, выдумке, чувствах - любви, ненависти, желании зубной боли. Все эти вещи имеют общее - они существуют сами по себе. Если мне кажется, что у меня болят зубы, это означает, что явление, именуемое "зубной болью", бесспорно, существует в Универсуме,

поскольку достаточно, что зубная боль существует абсолютно, что она существует сама по себе, что она кажется существующей сама в себе. Вот существуют ли зубы в Универсуме или нет - вопрос спорный; поэтому поэт Гейне как-то заметил одной даме, что мы не всегда верно определяем источник наших бед, даже если они для нас очевидны: "Хочу вам сознаться, что у меня зубная боль в сердце".

В течение долгих лет освоения курса наук меня учили, что для наших средиземноморских народов очень сложно - и не случайно - принимать во внимание особое свойство,

присущее во всем Универсуме лишь мышлению и субъективности. В то же время для северных народов оно относительно легко и очевидно. И поскольку идея субъективности, как я уже говорил, представляет собой основной принцип всего нового времени, есть смысл следовать ему, его непонимание - одна из причин, по которым средиземноморские народы так и не стали вполне современными. Каждая эпоха имеет свою атмосферу, в которой преобладают определенные принципы, вдохновляющие и организующие жизнь; когда народу не подходит эта атмосфера, ему

неинтересна жизнь он подобен растению в неблагоприятной среде, существование его сводится к *vita minima*, или, используя спортивный термин, он "теряет форму". Это и произошло с испанским народом в период так называемого нового времени. Тип жизни нового времени не для него, неинтересен ему. С этим нельзя бороться, остается ждать. Но представьте себе, что эта идея субъективности, основа всего нового времени, будет побеждена - другая идея, более глубокая и мощная, обесценит ее полностью или частично. Это означало бы создание новой атмосферы - новой эпохи.

Итак как эта наступившая эпоха противоречила бы предшествовавшей, эпохе нового времени, народы, терпевшие неудачи в этот период, обрели бы возможность возродиться. Испания, возможно, снова сможет проснуться в полной мере для жизни и истории. Что, если одним из результатов этого курса станет то, что мы убедимся: подобное предположение стало фактом - идея субъективности побеждена другой, новое время полностью завершено?

Но идея субъективности, первенства разума, или сознания, как первичного явления Универсума так

велика, так прочна, так сильна что мы не можем питать иллюзий относительно легкого ее преодоления,' напротив, мы должны проникнуться ею, понять ее в полной мере овладеть ею. Без этого нам нечего и пытаться преодолеть ее. В истории любое преодоление предполагает условие- нужно поглотить то, что следует превзойти, нести в себе то, что мы хотим покинуть. В жизни духа преодолевается лишь то, что сохраняется, подобно тому как третья ступенька возвышается над двумя. Стоит им исчезнуть, третьей ступени придется упасть и стать первой. Нет

инного способа пойти дальше нового времени, как на его основе. Поэтому-то испанские духовные семинарии не сумели превзойти идей нового времени - они никак не могли принять их, но упорно отменяли, не обдумывая и во усваивая. В противоположность телесной жизни в жизни духовной новые, дочерние идеи заключают в себе идеи, породившие их. Но вернемся к исходному данному - мышлению. Сомнение как метод, решение сомневаться, поскольку имеется понятное чувство сомнения, не было у Декарта случайностью, как и его начальная формулировка о

несомненности сомнения. Решение об универсальном сомнении - это лишь лицевая сторона медали, или инструмент другого решения, более позитивного: признавать науку не как содержание, а лишь как то, что можно доказать. Итак, наука, теория - это не что иное, как запись реальности в системе доказанных суждений. Ведь сомнение как метод не является для философии случайностью: это сама философия, обдумывающая свои собственные неотъемлемые свойства. Любое доказательство - это доказательство сопротивления, и теория - это доказательство сопротивления,

которое некое суждение оказывает сомнению. Без сомнения нет доказательства, истинности знания.

Ведь сомнение как метод вело историю, так же как ведет сейчас нас, к огромному открытию: для познания нет другого исходного данного, кроме самого мышления. Ни о чем другом нельзя сказать, что достаточно мне о нем мыслить, чтобы оно существовало. Кентавр и химера существуют не потому, что мне доставляет удовольствие выдумывать их, - подобно тому как этот мир существует не потому, что я его вижу. Напротив, достаточно не помыслить, что я мыслю о том или

другом, как эта мысль существует. Ведь у мышления есть в качестве привилегии способность давать себе бытие, быть данным для себя, или, другими вами, во всех иных вещах различается их существование и то, я о них мыслю, поэтому они всегда представляют собой проблему, а не данное. Но для того чтобы существовало мое мышление, мне достаточно помыслить, что я мыслю. Здесь мыслить существовать - одно и то же. Реальность мышления заключается именно в том, что я отдаю себе отчет в нем. Бытие здесь состоит в этом знании, отдавании себе отчета. В понимании, что

является основным данным для того, чтобы знать или осмыслить то, что состоит именно в том, чтобы знать себя теперь уверенности, с которой мы можем утверждать, что в Универсуме существует мышление, или *cogitatio*, несравнима с нашим другим утверждением относительно существования, и это, ни однажды обнаруженным, обязывает основывать на нем наше знание об Универсуме. Для теории первая истина о реальности такова: мышление существует, *cogitatio est!* Мы не можем исходить из реальности внешнего мира: все, что окружает все тела, включая и наше

собственное, в их стремлении существовать сами по себе, независимо от наших мыслей о них, подозрительны. Но, напротив, несомненно, что они существуют в моем мышлении как мои мысли, как *cogitationes*. Теперь разум оказывается центром и опорой всей реальности. Мой разум придает нерушимую реальность тому, что мыслит, если я считаю его тем, что он представляет собой изначально, - если я считаю его моей мыслью. Этот принцип ведет к попытке создания системы объяснений всего имеющегося, интерпретируя все то, что, очевидно, не является

мышлением, не является мыслью как состоящее лишь в мышлении, лишь в мысли. Эта система - идеализм, и современная философия, начиная с Декарта, в основе своей идеалистическая.

Если сомнение в независимости существования внешнего мира мы недавно назвали огромным парадоксом, его непосредственное следствие, т. е. превращение этого внешнего мира в мое чистое мышление, будет сверхпарадоксом, делающим из философии нового времени добросовестное противоречие нашей жизненной вере. Начиная с Декарта, философия

действительно делает первый шаг в направлении, противоположном привычкам нашего разума, идет против течения обыденной жизни и удаляется от нее, двигаясь равномерно ускоренно до точки, где у Лейбница, Канта, Фихте или Гегеля философия становится миром, увиденным наизнанку, великолепной противоестественной теорией, которая не может быть понята без предварительного посвящения, теорией посвященных, тайным знанием, эзотеризмом. Мышление поглощает мир: вещи превращаются в чистые идеи. В письмо, к которому я обращался ранее, Гейне спрашивает

свою приятельницу: "Есть ли у вас мысли по поводу того, что такое мысль? Я вот вчера спросил своего кучера, что такое мысли, и он ответил мне: „Мысли... мысли, да это такие вещи, что западают кому-нибудь в голову"". Кучер Гейне правил в течение трех веков - всего нового времени - великолепной барочной каретой идеалистической философии. И до сих пор бытующая культура едет в этом экипаже и не находит способа выйти из него, не роняя своего достоинства. Те, кто пытался сделать это, не выходили из кареты, а просто высовывались из

окошка и разбивали голову - голову кучера Гейне, куда западали вещи.

Превосходство идеализма идет от открытия одной вещи, способ существования которой коренным образом отличен от остальных.

Никакая Другая вещь в Универсуме, даже если предположить их существование, не состоит в основе своей из бытия для себя, из осознания самой себя. Ни цвета, ни тела, ни атомы, стало быть, никакая материя: бытие цвета - белеть, зеленеть, синеть, а не быть для себя белым, зеленым или синим. Тело - это тяжесть, вес, - но не вес для себя самого. Также и идея

Платона не состоит в осознании самой себя: идея добра или равенства не знает, что такое доброта или равенство. Также и аристотелевская форма не состоит в этом звании о себе, как и Бог Аристотеля - несмотря на его определение, с которым, как я надеюсь, мы еще столкнемся, как и Логос Филона и Плотина и Евангелиста Св. Иоанна, как и душа Св. Фомы Аквинского. Речь действительно идет о понятии, присущем новому времени.

Если понимать это *cum grano salis*, я сказал бы, что способ бытия всех этих вещей далек от того, чтобы состоять в бытии для себя или

знании о самих себе, а скорее состоит в противоположном: в существовании для другого. Красное красно для того, кто его видит, платоническая доброта, доброта совершенная, такова для того, кто может думать о ней. Поэтому собственно античный мир кончился на александрийских неоплатониках, которые искали для идеальных объектов Платона кого-то, для кого они существовали или должны были существовать, и пробовали ощупью, смущенно, смогут ли они быть содержанием божественного разума. Античный мир в целом знает только способ существования, состоящий во

внешнем проявлении, т. е. в открытости и выставлении напоказ, в бытии вовне. С тех пор явление бытия - это то, что действительно зовется "открытием", демонстрацией, обнажением. Но картезианское мышление состоит, напротив, в бытии для себя, в осознании самого себя, тем самым в существовании внутри себя, в размышлении о себе, в погружении в себя. В противоположность бытию, направленному вовне, показному, внешнему, которое было известно античности, появляется другой способ бытия, состоящий по сути в бытии внутри себя, в бытии чисто

внутреннем, в рефлексивности. Для такой удивительной реальности необходимо было найти новое имя: слово "душа" не подходит - поскольку античная душа во менее внешняя, чем тело, ведь у Аристотеля и даже у Св. Фомы Ливийского она была основой телесной жизненности. Для Св. Фомы было большой проблемой дать определение ангелов как душ без тела из-за того, что аристотелевское определение души включает телесную жизненность.

Но cogitatio не имеет ничего общего с телом. Мое тело - пока только мысль о теле, содержащаяся в моем разуме. Душа не в теле и не при теле, есть

только мысль о теле в моем разуме, в
моей душе. Если, кроме того,
оказывается, что тело - это
реальность вне меня, протяженная
реальность, действительно
материальная, а не идеальная, то это
значит, что душа и тело, разум и
материя не имеют между собою
ничего общего, не могут ни
соприкоснуться, ни войти в какие-
либо прямые отношения. Впервые у
Декарта материальный и духовный
мир были разделены "самой своей
сути - бытие как внутреннее и бытие
как внешнее с этого времени
определяются как несовместимые.
Невозможно большее расхождение с

античной философией. Для Платона, [и для Аристотеля, материя и то, что они называли духом я нас, потомков Декарта, это псевдодух, соотносились как правое и левое - материей было то, что воспринимало дух, а духом то, что просвещает материю, стало быть, они определялись одно через другое, а не как в новое время, где одно противопоставлено другому, одно исключает другое.

Название, которое, начиная с Декарта, дается мышлению как бытию для себя, осознанию себя, - это... сознание, сознание.

Не душа, дух, что означает "воздух, дуновение", - поскольку душа одушевляет тело, движет его, как морской ветер ударяет в парус, выгибая его, - а сознание, т. е. осознание себя. В этом термине открыто появляется атрибут, конституирующий мышление, означающий знать себя, придерживаться самого себя, размышлять о себе, проникать внутрь себя, быть глубоко внутренним.

Сознание означает глубоко внутреннее размышление и ничего кроме. Когда мы говорим Я, мы выражаем то же самое. Произнося Я,

я говорю самому себе: я определяю свое бытие только по отношению к нему, т. е. по отношению ко мне. Я существую в той мере, в какой обращаюсь к себе самому, в какой снова обращаюсь к собственному бытию - не отдаляясь, а, напротив постоянно возвращаясь. Поэтому, сказав Я, мы невольно направляем указательный палец в собственную грудь, этой зримой пантомимой символизируя нашу незримую, постоянно возвращающуюся к себе, размышляющую сущность.

Несомненно, стойки с их всегда материалистическим подходом к идеям видели в атом жесте

доказательство того, что главная душа человека находится в его груди. Я - это сокол, который всегда возвращается на руку, причем и сама рука - сокол, и Я состоит лишь в этом изменении направления полета - внутрь себя. Это птица, которая, оставляя небеса и пространство, зачеркивает своим полетом это пространство, возвращаясь к себе самой, углубляясь в саму себя, это крыло, которое в то же время и воздух для опоры, - мы сказали бы, полет, отрицающий природный полет. Разве открытие столь странной реальности, как сознание, не предполагает необходимости

отвернуться от жизни, заниматься деятельностью, совершенно противоположной той, что естественна для нас в жизни? Разве не естественно жить в окружающем мире, веря в его реальность, опираясь на прекрасный круг горизонта, как на несокрушимую ограду, которая держит нас на поверхности существования? Как человек приходит к этому открытию, как он контролирует эту противоестественную вывернутость и обращается к себе, и, обращаясь, открывает свою сокровенность, осознает, что сам он не что иное, как рефлексивность, сокровенность?

Но есть нечто более тяжелое: если сознание - это сокровенность, если оно означает видеть и придерживаться самого себя, это общение исключительно с самим собой. Декарт последовательно, хотя и не до конца, обрезает связи, соединявшие нас с миром - с вещами, с другими людьми, превращая каждый разум в огороженный участок. Но он не подчеркивает, что это означает: быть отгороженным это значит, что из только ничего внешнего не может проникнуть в душу, что мир не сообщает нам своей реальности, обогащая нас ею, по прямо наоборот: что разум имеет

дело лишь с самим собой, не может выйти за пределы самого себя; что сознание не только огороженный участок, но и заточение. Поэтому, встретившись с подлинным бытием нашего Я, мы обнаруживаем, что остались одни в Универсуме, что каждое Я, по сути своей, - одиночество, полное одиночество.

Таким образом, мы ступили на "неизвестную землю". В начале этого курса я говорил, что мне не терпится придать зрелость новым идеям, в большинстве своем новым. Я подтверждаю обещание рассказать о коренном нововведении в философии. В следующий раз мы

начнем шагать по этой неизвестной земле.

Лекция VIII

[Открытие субъективности. -
"Экстаз" и "спиритуализм"
античности. - Два источника
современной субъективности. -
Трансцендентный Бог христианства]

Решающее открытие сознания,
субъективности, Я было совершено
Декартом. Как мы видим, это
открытие состоит в обнаружении
того, что среди вещей, существующих
или претендующих на существование
в Универсуме, есть одна, способ

бытия которой - коренным образом
отличен от остальных: это
мышление. Что именно мы хотим
сказать, говоря, что этот театр
существует? о в конце концов в той и
другой интерпретации мы понимаем
(существованием вещей? Этот театр
существует - т. е. он есть. Но что
значит "здесь"? "Здесь" означает
здесь в мире", здесь в Универсуме -
внутри определенных реальностей.
Этот мир существует, т. е. он часть
Мадрида, который расположен
обширных землях Кастилии,
которые, в свою очередь,
размещаются на еще большем
пространстве, именуемом планетой,

а она находится в астрономической системе и т. д. я т. д. В отношении, которое мы называем "быть здесь", существование вещей означает, что одни из них расположены на других, стало быть, оно состоит в бытии одних в других, размещении одних на других. Их существование в этом смысле представляемой нечто статическое, они как бы располагаются, покоятся одна на другой. Разве не это мы простодушно понимаем под "быть здесь"?

Напротив, когда я говорю, что мое мышление существует, не имею в виду под его существованием "пребывание здесь" - наоборот, мое

мышление существует тогда и постольку, да и поскольку я отдаю себе в нем отчет, т. е. когда я мыслю, существование состоит в том, чтобы быть для меня мыслью - бытием для себя самого. Но если мое мышление существует лишь когда, и поскольку я действительно мыслю, т. е. я совершаю его, осуществляю, то его существование оказывается не таким, как у других вещей: оно заключено не в пребывании, пассивном нахождении в Другой вещи, простом участии в среде вещей, находящихся в других вещах, в среде неподвижных вещей - нет, существование мышления активно,

стало быть, это не пребывание, а постоянное осуществление себя самого беспрестанное действие. Это означает, что открытие своеобразия мышления несет с собой открытие способа бытия, коренным образом отличного от бытия других вещей. Если под вещью мы понимаем нечто в конце концов более или менее неподвижное, бытие мышления состоит из чистого действия, из чистой подвижности, из самопорождающего движения. Мышление - это подлинное, "единственное самодвижение.

Оно состоит, как мы сказали, в размышлении, в размышлении о

самом себе, в возможности отдавать себе отчет о самом себе. Но это предполагает в мышлении двойственность, или удвоение: мышление отраженное и мышление отражающее. Давайте проанализируем, хотя бы и наспех, мельчайшие элементы, составляющие мышление, с тем чтобы обрести ясность относительно некоторых часто употребляемых понятий современной философии, таких как "субъект". Я, "содержание сознания" и т. д. Нам следует держать их чистыми, стерильными, готовыми, поскольку мышление наверняка отдает себе отчет также и

в других вещах, не являющихся им. Итак, сейчас мы видим в тот театр, и пока мы только смотрим, нам в этом нашем состоянии кажется, что театр существует вне и отдельно от нас. Но мы уже отметили, что это мнение спорное, приписываемое любому акту бессознательного мышления, т. е. любому акту мышления, которое не осознает само себя. Театр-галлюцинация не кажется галлюцинирующему существующим менее реально, чем тот, что сейчас перед нами. Это заставляет нас осознать: для субъекта видеть - это не значит выходить за пределы самого себя и вступать в чудесный

контакт с самой реальностью. Театр-галлюцинация и театр подлинный - оба существуют пока только во мне являются состояниями моего разума, являются мыслями. Они являются - как принято говорить с конца XVIII в. и до наших дней - содержанием сознания Я, мыслящего субъекта. Всякая другая реальность вещей, помимо того, что они являются вашими мыслями, проблематична и в лучшем случае производив от той первичной, которой они обладают как содержание сознания. Внешний мир находится в нас, в нашем воображении. Мир - это мое представление, как грубо

сформулировал грубый Шопенгауэр. Реальность - это идеальность. Говоря по правде, строго, существует только воображающий, мыслящий, сознающий.

Во мне, несомненно, возникают самые разнообразные картины, все то, что я простодушно считал существующим вокруг меня на что надеялся опереться, сейчас возрождается в качестве внутренней фауны и флоры. Это состояния моей субъективности. Видеть - это не выходить за пределы себя, но отыскивать в себе образ этого театра, часть образа Универсума. Сознание всегда с собой, оно одновременно и

дом, и квартиросъемщик, оно
интимность - высшая и полная
интимность меня с самим собой. Эта
интимность, из которой я состою и
которой я являюсь, создает из меня
существо закрытое, без пор, без окон.
Если бы во мне были окна и поры,
сквозь них проникал бы воздух
снаружи, меня наполняла бы
предполагаемая внешняя реальность,
тогда во мне оказались бы
действительно чуждые мне вещи и
люди, - и тогда не было бы чистого Я,
исключительной интимности. Но это
открытие моего существа как
интимности, доставляющее мне
удовольствие вступать в контакт с

самим собой, вместо того чтобы видеть себя как внешнюю вещь среди других внешних вещей, в то же время приносит и неудобство, заключая меня внутри меня, превращая меня в тюрьму и одновременно в узника. Я постоянно заключен внутри себя. Я - Универсум, но именно поэтому... я одинок. Вещество, из которого я создан, нить, из которой я соткан, - это одиночество.

К такому выводу мы пришли в прошлый раз. Идеалистический тезис, господствующий в культуре нового времени, без сомнения, чрезвычайно устойчив, но в то же время совершенно безумен с точки

зрения добропорядочного буржуа и текущей жизни. Нет большего парадокса: выворачивается наизнанку способ мыслить

Универсум, которому научила нас нефилософская жизнь. Тем самым это прекрасный пример интеллектуального героизма, о котором мне уже приходилось говорить как об отличительной черте философствования. Речь идет о том, чтобы безжалостно доходить до самых крайних последствий, к которым приводит наше рассуждение, идти туда, куда ведет нас чистая теория. Даже если она ведет нас к тому, что

добропорядочный буржуа назвал бы абсурдным, - к тому, что назовет абсурдным и откажется принять добропорядочный буржуа, который всегда живет на одном из этажей нашей собственной персоны.

Но есть нечто особенно странное в этом идеалистическом тезисе, а именно - его исходный пункт, открытие субъективности как таковой, мышления в его интериорности. Ведь античному человеку был совершенно неизвестен этот субъективный, рефлексивный, интимный, одинокий способ бытия.

И я не знаю, что более курьезно - то, что человек античности не знал своего собственного бытия, своей субъективности, или то, что человек нового времени открывает свое Я как совершенно неизвестную, неожиданно возникшую землю. Тема важная и новая, но трудная для обсуждения. Не знаю, сумею ли я ясно изложить ее вам. Могу лишь поручиться, что постараюсь этого добиться.

Исходя из нашего теперешнего образа мышления, уже открывшего сознание, субъективное бытие, бытие для себя, мы можем представить

нашу интимность в виде круга,
заполнив его тем, что в нас
происходит и имеется. В этом круге
центр будет символизировать
элемент нашего сознания,
именуемый Я, роль которого состоит
в том, чтобы быть субъектом таких
наших действий, как видеть,
слышать, воображать, мыслить,
любить, ненавидеть. Все эти
ментальные акты обладают
следующим свойством: кажется, что
они исходят, излучаются из
центральной точки, присутствующей
и действующей в любом из них, - в
мышлении кто-то мыслит, в любви
кто-то любит, в ненависти кто-то

ненавидит. Этот кто-то называется Я. И этот Я, который видит и мыслит, является не реальностью, отделенной от видения и мышления, но составляющим субъектом, принимающим участие в действии.

Если Я может быть символизировано как центр нашего сознания, нашего понимания, то периферия, окружность, займет все то в нас, что в меньшей степени является нашим, а именно все представления о цветах, формах, звуках, телах, т. е. весь внешний мир, который окружает нас, который мы зовем природой, космосом.

Итак, в жизни человека эта космическая периферия, состоящая из материальных предметов, требует постоянного внимания. Внимание - это вид основной деятельности Я, который направляет и регулирует его остальные действия. Недостаточно, например, для осуществления нами акта видения и слушания чего-либо, чтобы оно находилось перед нами. Те, кто живет близ водопада, перестают слышать его, и из всего, что складывается в видимый сейчас образ этого театра, мы замечаем лишь часть его. Какую? Ту, на которой мы сосредоточиваемся, на которую обращаем внимание. Видеть

означает смотреть, или искать
Глазами, слышать - слушать, или
напрягать слух. Следовательно,
говоря я, природа, внешний мир
требует внимания человека с
неотступной настоятельностью, все
время ставя перед ним проблемы
выживания и самозащиты. Кроме
того, в первобытные эпохи жизнь
человека представляет собой
непрестанную войну с природой,
окружающими предметами, и
индивид не может заниматься ничем
иным, кроме решения проблем своей
материальной жизни. Это означает,
что человек посвящает свое
внимание только периферии всего

бытия, видимому и осязаемому. Он живет, осознавая лишь свое космическое окружение. Я в этом случае нахожусь там, где сосредоточено его внимание, остальное для него не существует. Применительно к нашему символическому изображению мы сказали бы, что в круге существует лишь линия, ограничивающая его, т. е. субъективность не что иное как эта окружность. Иногда телесная боль, внутренняя тревога возвращает внимание с периферии во внутреннюю часть круга, от природы к себе самому, но на мимолетное мгновение, не постоянно и не часто.

Внимание, не приученное
сосредотачиваться внутри, всегда
стремится к своему начальному,
привычному направлению и вновь
хватается за окружающие вещи. Это
мы можем назвать "естественной"
деятельностью сознания, для
которой существует лишь
космический мир, состоящий из
физических тел. Человек живет,
бдительно следя за своими
собственными границами,
высовываясь наружу, в природу, т. е.
направляя внимание к внешнему
миру. С достоверностью, всегда
спорной, с какой мы можем
вообразить душу животных, мы

считаем, что их внутренняя ситуация должна быть несколько схожа с ситуацией "естественного" человека. Вспомните, животные всегда настороже. Уши пасущегося коня, как две живые антенны, как два перископа, свидетельствуют о его беспокойстве, о том, что животное всегда занято своим окружением. За обезьянами в пещерах Ретиро. Поразительно, как эти человекообразные существа всюду успевают: ничто из происходящего вокруг не ускользает от них. Слово "extasis" этимологически значит "быть вне себя". В этом смысле животное находится - в непрерывном

экстазе, пребывая вне себя самого из-за постоянной внешней опасности. Обратиться к себе самому означало бы отвлечься от происходящего вокруг, а подобное отвлечение могло бы стоить животному жизни. Природа в своей первобытной естественности жестока: она не терпит невнимательности. Нужно иметь сотню глаз, беспрестанно окликать "стой! кто идет?", быстро получать сведения о постоянно меняющихся обстоятельствах, чтобы ответить на них соответствующими действиями. Внимание к природе - это жизнь в действии. Животное в чистом виде - это человек действия в

ЧИСТОМ ВИДЕ.

Таким образом, первобытный человек живет как бы на собственном сторожевом посту, внимание его поглощено космосом, он отвернулся от собственного бытия. Я живет, исходя из вещей, и направлено к ним, а занимается ими, проходя сквозь самое себя подобно лучу солнца, проникающему сквозь стекло, не задерживаясь в нем. Именно поэтому и именно таким образом с биологической точки зрения естественно и первично незнание человеком самого себя.

Удивляет, вызывает любопытство и требует объяснений явление противоположное. Каким образом внимание, изначально центробежное, направленное на то, что нас окружает, совершает невероятный поворот к самому себе и собственному Я, отворачиваясь от окружающего, и принимается смотреть внутрь самого себя. Конечно, вы подумаете, что этот феномен сосредоточенности на своем внутреннем мире предполагает две вещи: нечто побудившее субъекта перестать интересоваться окружающим и нечто Привлекшее его внимание к

собственному внутреннему миру. Вы скажете, что одного без другого недостаточно. Лишь освобожденное от своих внешних занятий внимание может обратиться на другие вещи. Но простое освобождение от внешнего мира не несет с собой открытия и предпочтения мира внутреннего. Чтобы женщина полюбила мужчину, ей недостаточно разлюбить другого: необходимо, чтобы этот привлек ее внимание.

Но прежде чем приступить к разъяснению столь решительные перемены в человечестве, следует использовать наше описание неотъемлемой и первичной

деятельности мозга, чтобы понять Я образ мыслей, господствовавший в греческой и вообще в античной философии. Самый большой успех в истории, и в частности в истории философии, достигнутый в последние годы, состоит в том что мы позволили себе быть откровенными и признать, мы что не понимаем античных мыслителей. Эта откровенность с самими собой, как всегда, была вознаграждена ipso facto . Осознав что мы их не понимаем, мы стали впервые в самом деле , понимать их, т. е. отдавать себе отчет в том, что они мыслили в отличной от нас форме, и

в результате искать формулу-ключ этого образа мышления. Ведь речь идет не о том, что их теории в той или иной мере несходны с нашими, но о том, что сама их интеллектуальная деятельность отличалась от нашей.

Античный человек сохраняет, в сущности, тесситуру первобытного человека. Как и тот, он живет вещами и существует лишь для космоса физических тел. Он может нечаянно обнаружить признаки интимности, но они нестабильны и по сути случайны. Ведь греческое мышление, строго говоря, примитивно, - правда, грек не удовлетворяется жизненным

наблюдением внешнего мира, но философствует о нем, вырабатывает идеи, претворяющие в чистую теорию находящуюся перед ним реальность. Идеи греков были отформованы в реальности, состоящей из вещей внешних, материальных. Само слово "идея" и однокоренные к нему означают "видимая фигура", "внешний вид". Поскольку кроме тел в природе существуют их движения и изменения, грек должен придумать другие, невидимые, нематериальные вещи которыми эти движения и изменения обусловлены. Эти нематериальные вещи в конце концов

мыслятся так же, как материальные, но утончившиеся до прозрачности. Так, животное состоит из материи, организованной и движимой той вещью, что находится внутри, скрытой в материи: душой. Но эта душа не имеет ничего интимного: она представляет собой внутреннее только в том смысле, что скрыта в теле, погружена в него и поэтому не видна. Это дуновение, воздушное дыхание - или влага Фалеев, или огонь Гераклита. Хотя человек нового 'времени сохранил слово "дух" для обозначения своего открытия интимности, он начинает постигать, что и греки, и римляне понимали под

нею реальность не менее внешнюю, чем телесная, приписанную к телам, силу, помещенную в космосе.

Конечно, в человеческой душе, согласно Аристотелю, имеются силы которых нет в душе животного, обладающей, в свою очередь ' способностями, отсутствующими у души растительной, но так как для греческой мысли они все являются душами, то человеческая душа является ею не более чем душа растения '. Так, человеческая душа одновременно и неделимо обладает свойством думать и произрастать. И неудивительно, что Аристотель относит науку о душе, психологию, к

биологии. Психология Аристотеля говорит о растении наряду с человеком, поскольку его душа представляет собой не начало интимности, а космическое начало космической жизненности, что-то вроде начала движения и изменения, ведь для греков существует даже душа минерала - душа каждого небесного светила. Греческое понятие души больше всего похоже на понятие скрытой, но внешней по отношению к самой себе силы, такой, какую мы простодушно предполагаем внутри магнита, чтобы объяснить способность притягивать, которой обладает его видимое тело.

В самом деле, говорить сегодня о "спиритуализме" Аристотеля в современном смысле слова "духовность" было бы исторической наивностью, если бы не было неточностью. Если же вопреки тексту вводить в аристотелевский дух наше современное понятие сознания, то неточность меняет направление и упирается в непризнание того, что непонятно, того, например, что, по Аристотелю, светила имеют душу, т. е. сознание, и поскольку сознание состоит в чистом осознании себя, оно может двигать тяжелую громаду звездного тела. Греки открыли душу не исходя из интимного видения

самих себя, но обнаружив ее вовне как некую квазителесную сущность. Поэтому греки понимают чувственное восприятие и вместе с ним всю разумную жизнь как столкновение двух тол: телесные вещи сталкиваются с вещью-душой и оставляют в ней свои след. Душа до этих столкновений не содержит ничего, она - нетронутая восковая табличка. Она еще так далека [от интимности, бытия для себя, эта греческая душа, способная существовать пустой и не обладающая пространством, - она как фотографическая пластинка, на которой есть лишь то, что пришло

извне, то, что природа наносит и располагает на ней. Какое различие между этой душой и барочной монадой Лейбница, в которую ничто не может ни проникнуть, ни выйти из нее, которая живет сама собой, - источник, питаемый собственной внутренней силой! Мне хотелось бы когда-нибудь в другой раз поговорить подробнее об античном образе мышления. Но сейчас надо скорее возвращаться к нашей теме.

- Каким образом внимание, естественно центробежное, изменяет направление, сделав поворот на 180° , и, вместо того чтобы быть обращенным вовне,

сосредоточивается на самом субъекте? Как произошло, что глаза обратились внутрь человека, как у сломанной куклы внутрь, ее фарфоровой головки? ; Беззвучная, бескровная, без оповещающих о ней литавр и Поддерживающих ее труб, без воспевающих ее поэтов, - это, несомненно, одна из самых неожиданных перемен, подмостками в которых явилась планета. Человек античности все еще продолжал жить рядом со своим братом-животным и, подобно ему, в себя. Человек нового времени погружен в себя, обращен на себя, очнулся от своей космической бессознательности, страхнул [себя

спячку, оставшуюся у него от водоросли, от растения, млекопитающего, и обрел самого себя: открыл себя. В один прекрасный день он, как обычно, делает шаг и замечает, что столкнулся с чем-то странным, неизвестным, необычным. Хотя он и не осознает как следует, кто это, во начинает его теснить при этом замечает, что больно ему самому, что одновременно -тот кто теснит и кого теснят, что он сталкивается с самим собой' "Испытываю боль, значит существую". Дьявольское происшествие! Дьявольское? Может быть скорее божественное? Разве не

более вероятно, что в выходящем из
ряда воя явлении принимает участие
Бог? Но какой бог христианский? Да,
христианский, только христианский
каким образом открытие совершенно
современное из которого, как из
зерна выросло все антихристианское
время, может быть связано с именем
христианского Бога? Эта
возможность беспокоит христиан и
приводит в ярость антихристиан
современности. Христианин
антисовременен: он удобно
Расположился раз и навсегда против
современности. Он не принимает ее.
Она_ - порождение Сатаны И вот ему
объявляют, что современность - это

зрелый плод идеи господней. В свою очередь, человек порою времени - противник христианства и полагает, что это время "простои" христианской идее. Теперь его призывают осознать себя именно как представителя нового времени, как дитя Бога. Это сбивает с толку. Это означает перевернуть представления об истории и изменить убеждения. И противник христианства и противник временности не хотят изменений, не хотят бытия, поэтому они удовлетворяются антибытием.

Открытие субъективности имеет два глубоких исторических корня: отрицательный и положительный.

Отрицательный - это скептицизм, положительный - христианство. Одно без Другого не могло бы дать подобного результата. Сомнение, как мы уже имели возможность заметить, свойство научного познания, оно открывает лазейку, в которую проникает доказательство. Греки, в совершенстве и до конца развили эту способность сомневаться. Школы, именовавшие себя скептическими не оставили ничего последующим временам. Конечно больше всех сомневались академики: Ни Декарта, ни Юма, Ни Канта никто не смог превзойти в скептицизме. Во всяком случае они

показали иллюзорный характер познания. Мы не можем узнать, каковы вещи. Самое большое, мы можем показать, какими они нам кажутся. Но ясно, что греческие скептики были греками, и так как познание-это познание бытия, а для греков не было иного бытия, кроме внешнего. Они пришли к формулировкам, которые в буквальном смысле современны, которые чудесно выражают то, что современный человек не сумел бы сказать лучше. Так киренаики говорят, что мы не можем познать реальное, поскольку душа не может выйти наружу, а остается замкнутой

в своих состояниях- и существует
наподобие осажденного города .
Разве это не открытие интимности?
Возможно ли более строгое, более
пластичное выражение
субъективного бытия? Греки,
которые думали так, не видели здесь
ничего положительного. Этими
словами они выражают мысль о том,
что мы не можем выйти наружу, в
этом пленном бытии для себя
содержится новая реальность, более
прочная в основательная, чем
внешняя. В истории мало более
ярких примеров того, что тонкости
ума недостаточно, чтобы совершить
открытие. Нужен энтузиазм, любовь

к новому. Способность рассуждать - это фонарь, который необходимо направлять рукой, а рука должна быть движима горячим желанием, предшествующим тому или другому замыслу. В конце концов, находят лишь то, что ищут, и разум находит потому, что ищет любовь. Поэтому все науки начинаются как пристрастие людей пристрастных. Современное педантство обесценило это слово; но пристрастный - это тот, кто может относиться к чему-либо со всем возможным уважением, в этом заложено все. То же самое мы сказали бы о любителе. Любовь ищет предмет для того, чтобы

впоследствии его нашел разум. вот великая тема для долгого и плодотворного разговора, который мог бы показать, как ищущее бытие представляет собой сагу суть любви! Вы думали об удивительной структуре поиска? тот, кто ищет, не имеет, даже не знает того, что ищет, а, с другой стороны, искать - значит уже иметь заранее, предполагать, 'то ищешь. Искать - значит предвосхищать еще не существующую реальность, предполагать ее появление. Я не понимаю любви, которая, как это часто бывает, впоследствии отчаивается отрицает любовь. Если

любовь к женщине рождена ее красотой, то любовь, состояние влюбленности не ограничивается лишь созерцанием этой красоты. Однажды пробужденная, родившаяся любовь состоит в постоянном создании как бы благоприятной атмосферы, как бы верного, доброжелательного света, в который мы заключаем любимое существо, - так что все остальные его свойства и достоинства могут раскрыться, проявиться, и мы узнаем о них. Ненависть, напротив, представляет ненавидимое существо в отрицательном свете, и мы видим лишь его недостатки. Любовь,

следовательно, подготавливает, предполагает возможное совершенствование любимого существа. Тем самым она обогащает нас, давая возможность увидеть то, что мы без нее не увидели бы. Кроме того, любовь мужчины к женщине подобна попытке переселения душ, попытке выйти за пределы себя, она пробуждает в нас стремление к перевоплощению.

Но оставим теперь эти изыскания в области страстей и обратимся снова к нашему предмету. Мы видели, как скептицизм учит человека не верить в реальность внешнего мира и, как следствие, не интересоваться им. Но

в этом первом акте он
останавливается, будучи слепым, у
врат человека внутреннего. Как
говорил Гербарт: "Каждый новичок -
скептик, но каждый скептик - всего
лишь новичок".

Отсутствует положительный мотив,
интерес к субъективности,
необходимый для того, чтобы она
привлекла к себе внимание и
выдвинулась на первый план. Этим
мы обязаны христианину, Греческие
боги не больше, чем верховные
космические силы, вершины
внешней реальности, величественная
мощь природы, В пирамиде вершина
занимает господствующее место,

принадлежа, в то же время самой пирамиде. Таким же образом греческие боги находятся над миром, но составляют его часть, его истинный цвет. Бог реки и бог леса, бог хлеба и бог молнии -- это божественная цена земных реальностей. Сам Бог евреев появляется с молнией и громом. Но христианского Бога не увидишь ни с молнией, ни с рекой, ни с верном, ни с громом. Это йог действительно трансцендентный и неземной, его способ бытия не сравним ни с какой космической реальностью. Никакая часть его, вплоть до кончика стопы, не проникнута этим миром, не

прикасается к нему. По этой причине для христианина величайшим таинством является воплощение. То, что Бог, совершенно несоизмеримый с миром, в какой-то момент вписывается в него - "и живет среди нас" - величайший парадокс. То, что логически представляет собой таинство христианства, было повседневной жизнью в греческой мифологии. Олимпийские боги в любой момент могли воспользоваться телами земными и не всегда людскими, воплощаясь в лебедя, простертого над Ледой, или в быка, уносящего на спине Европу.

Но христианский Бог -
трансцендентный Бог. Христианство
предлагает человеку войти в общение
с подобным существом. Как
возможно такое общение? Оно не
только невозможно через мир или
посредством мира и мирских вещей,
но, напротив, все, что на есть в этом
мире, служит по меньшей мере
препятствием и помехой общению с
Богом. Чтобы быть с Богом, нужно
начать с виртуального уничтожения
всего космического и земного,
представить его как
несуществующее, поскольку
действительно перед Богом это
ничто. И тогда душа, чтобы

приблизиться к Богу, в своем стремлении к божественности, для того чтобы обрести спасение, делает то же самое, что скептик, использующий сомнение как метод. Она отрицает реальность мира, других существ, государства, общества, собственного тела. И когда она преодолевает все это, она почувствует истинную жизнь и бытие. Почему? Да потому, что душа остается одна, наедине с Богом. Христианство открыло одиночество как сущность души. Я формулирую точно - как сущность души. Никто из моих слушателей не понимает сейчас, что это означает.

Одиночество как сущность. Что это? Немного терпения. Я надеюсь, что на данном этапе прочитанного мной курса можно отрицать любые мои достоинства, но не стремление к ясности. Несомненно, в свое время и эта формулировка окажется совершенно ясной.

Душа - это то, что истинно существует, когда остается без мира, освобожденной от него, т. е. когда она одна. Нет другого способа оказаться близ Бога, как через одиночество, потому что только в состоянии одиночества душа находит свое истинное бытие. Бог и пред ним одинокая душа; нет более истинной

реальности, с точки зрения христианина, христианской религии, но не так называемой "христианской философии" (которая, как мы увидим, представляет собой печальные в бесплодные цепи, которые влачит христианство). Нет ничего, кроме этой двойной реальности - Бог и душа, и поскольку знание для христианина - это всегда знание реального, совершенным знанием будет знание о Боге и о душе. Не случайно именно Св. Августин был первым мыслителем, смутно предвидевшим явление сознания и бытия как интимности, и не случайно он же был первым, кто

понял, что нельзя сомневаться в том, что испытываешь сомнения. Любопытно, что основатель христианской идеологии и основатель философии нового времени совпадают в исходном пункте. Для Св. Августина Я также существует в той мере, в какой осознает себя бытием - его бытие это его осознание, и эта реальность мышления первая в череде теоретических истин. Нужно основываться на этой реальности а не на проблематичной реальности космоса и того, что внешне. Здесь человек тоже предстает как абсолютно внутренний, как

интимность. И, как Декарт, в глубине этой интимности он находит Бога. Любопытно, что все религиозные люди в один голос говорят нам о том, что Св. Тереса называет "глубиной души". Кроется ли какая реальность за этой затертой метафорой? Не станем задавать вопросы, на которые сейчас не сможем дать ответа.

Однако было бы несправедливо и ошибочно видеть в Св. Августине Декарта. Чем больше обнаруживается между ними совпадений, тем заметнее огромное различие. Св. Августин был гением религиозного чувства, благодаря своей религиозной интуиции Св.

Августин приходит к открытию
рассудочного бытия, - как философ,
он стремится определить свою
интуицию и отвести ей
соответствующее место в науке, но,
поскольку он не был великим
философом, как Декарт, ему не
хватало внезапного гениального
прозрения, которое позволило
Декарту перевернуть всю античную
идеологию и основать современный
идеализм Но еще одно различие: Св.
Августин, человек нового времени,-
подобно Юлию Цезарю,
единственному человеку,
принадлежавшему новому времени в
древнем Среднеземноморье, - также

был человеком античным. И наряду с новыми идеями без всякого разграничения в нем целиком сохраняется античная ментальное". Поэтому его философия хаотична, поэтому он Отец Церкви, но не классик философии.

С другой стороны, еще не доказано, что Декарт, как кажется, человек, читавший весьма немного, был анатом с трудами Св Августина или воспринял внушенные им мысли ⁷. Но он высказывает то же самое. Эта мысль носилась в воздухе. Идея сознания, которая расцвела у Св. Августина, зрела в течение всех

средних веков в этой схоластике, которую так презирают, потому что ею, в сущности, никто должным образом не занимался, даже уцелевшие схоласты. Можно безошибочно восстановить связь Св. Августина с Декартом - через Св. Бернара Клервоского, Викторинуса, Св. Бонавентуру и францисканцев, Дунса Стога, Оккама и Николая из Отрекура. На этом пути идея сознания встретила лишь одно препятствие: в лице Св. Фомы Аквинского который оставил эту идею христианского происхождения, чтобы вернуться к космической душе Аристотеля, снова подчинив

своеобразное вдохновение христианства неподходящей форме античной мысли. Современность родилась из христианства, не надо враждебности по отношению к средним векам, пусть все будут дружественны и желанны. С этого должна была начаться мок сегодняшняя лекция, но приходится оставить до следующего раза открытие неизвестной земли, которой мы достигли на предыдущей лекции.

Лекция IX

'[Тема нашего времени- Коренная реформа философии.- Основное

ванное Универсума- Я существую для
мира. и мир существует для меня -
Жизнь каждого]

Сегодня перед нами трудная задача,
трудная для всегда жизнерадостной и
спортивной атмосферы, которой
должна дышать философия, если
хочет быть действительно
философией, а не буквоедством.
Сегодня, как никогда, нам
необходимо отточить наши суждения,
чтобы они были острыми,
вычищенными и
продезинфицированными, готовыми
служить нам при некой
хирургической операции. В
последнее время мы воскрешаем со

всем пылом великолепный
идеалистический тезис
современности во всей его чистоте,
тезис, на котором мы все, напрямую
или нет, были воспитаны и который
определяет действующий уклад
человеческой культуры. Оставив в
подвешенном состоянии реальность
внешнего мира и открыв первичную
реальность сознания,
субъективности, идеализм
поднимает философию на новый
уровень,. с которого она уже не
может сойти, не совершив
отступничества в худшем смысле
слова. Античный реализм, который
исходит из несомненного

существования космических
объектов, являет собою философское
простодушие, райскую невинность.
Всякая повинность - райская. Ведь
невинный - тот, кто не сомневается,
но подозревает дурного, не
остерегается, тот, кто всегда
чувствует себя как первобытный или
как античный человек в окружении
природы, космического пейзажа,
сада - и это Рай. Сомнение изгоняет
человека из Рая, из внешней
реальности. И куда идет этот
абсолютный Адам, т. е. мышление,
увидев себя изгнанным из Космоса?
Ему негде приютиться, ему
приходится ухватиться за самого

себя, устремиться в самого себя. Из Рая, т. е. внимания к внешнему, присущего детству, он переходит к погружению-в-себя, к меланхолии юности. Новое время меланхолично, и все в большей или меньшей степени романтично. Св. Августин, который был первым романтиком, великолепным, огромным во всем, - это пример философского простодушия. Какими бы не были наши намерения относительно нововведений и философского прогресса, следует понимать, что мы не можем вернуться от идеализма к простодушному реализму греков или схоластов. Здесь в высшей степени

уместен девиз солдат Кромвеля.
Тогда последуем дальше, за идеализм оставив его позади, как пройденную часть пути, как город в котором довелось жить и который навсегда остался в душе Идеализм остается в нас, т. е. мы сохраняем его. Он был ступенью в восхождении разума: теперь поставим ногу на следующую ступень, выше идеализма, а не под ним. Но для этого нам необходимо подвергнуть его хирургической операции. В соответствии с идеалистическим тезисом Я, субъект, поглощает внешний мир. Идеалистическое Я раздувается, поглощая Универсум.

Идеалистическое Я-это опухоль; нам необходимо вскрыть эту опухоль. Постараемся соблюсти всю рекомендуемую гигиену и антисептику. Но вмешательство необходимо. Я нездорово, в очень плохом состоянии, - очевидно, ему полегчает. Для греков Я было частицей в Космосе. Поэтому Платон почти никогда не употребляет слово его. Самое большее, он говорит о социальной общности, народное собрание афинян, либо меньшая группа - приверженцы его Академии. Для Аристотеля Я-душа, как рука, касается Космоса, приспособливается к нему, чтобы

получить знания о нем, как умоляющая рука слепого, которая пробирается между предметов. Но уже у Декарта Я поднимается до ранга первой теоретической истины и, становясь монадой у Лейбница, закрываясь в себе, отделяясь от большого Космоса, создает интимный мирок, микрокосм и представляет собой, согласно самому Лейбницу. И поскольку идеализм достигает кульминации у Фихте, у него же Я оказывается в зените своей судьбы - Я есть просто и прямо Универсум, все. Я сделало блестящую карьеру. Ему не на что сетовать. Оно не может стать больше.

И однако, оно сетует - и не без основания. Потому что, поглотив Мир, современное Я остается одиноким, конститутивно одиноким. Сходным образом китайский император из-за своего высочайшего ранга не должен иметь друзей, которые не были бы равны ему, - поэтому один из его титулов звучит: "одинокий человек".

Идеалистическое Я - это китайский император Европы. Я хотело бы всевозможными способами преодолеть свое одиночество, даже ценой того, чтобы не быть всем, т. е. оно готово быть несколько меньшим существом, чтобы жить несколько

больше, хотело бы иметь вокруг себя
Другие, отличные от него вещи,
другие разные Я, с которыми можно
было бы говорить, т. е. "ты" и "она",
прежде всего наиболее
отличающееся от меня "ты", которым
является "ты"-иона", или для Я
женского рода "ты", которым
оказывается "он". В общем, Я
необходимо выйти за пределы самого
себя, обнаружить мир вокруг.
Идеализм почти что закупорил
источники жизненных сил, почти
полностью уничтожил жизненные
ресурсы. Поскольку человека почти
удалось убедить всерьез, т. е.
практически, в том, что все

окружающее - это его воображение и он сам, поскольку, с другой стороны, первичный разум, спонтанный и неисправимый, продолжает представлять нам все это "как действительную реальность, отличную от нас, идеализм стал упорным и стойким движением наперекор жизни, которое упрямо, настоятельно заставляет нас признать, что жить спонтанно значит по сути впасть в ошибку, поддаваться оптической иллюзии. Скупец не смог бы предаваться своей пагубной страсти, если бы вправду поверил, что кусочек золота - это всего лишь изображение золота,

иначе говоря, фальшивая монета,
равным же образом и кавалер не
смог бы продолжать быть
влюбленным в даму, если бы всерьез
поверил, что это не женщина, ее
образ. Этот случай был бы не
любовью, любовью к себе,
автоэротизмом. Убедиться, что
любимая женщина не такова, как мы
о ней думаем, что она лишь
обобщенный образ, созданный нами,
означает для нас катастрофу, потерю
иллюзий. Если бы я располагал
большим временем, я показал бы
вам, что это не преувеличение, что
даже в мелочи жизни - жизнь и
состоит из мелочей - проникает

идеализм, разъедаая жизнь, лишая ее
жизненности.

Но сейчас перед нами насущная и
трудная задача: вскрыть Чрево
идеализма, освободить Я из
темницы, привести его в
соответствие с окружающим миром,
насколько возможно излечить его от
погруженности в себя, от попыток
бегства. Как может Я снова выйти на
пределы самого себя? Не значит ли
это впасть вновь в античную
наивность? На это я для начала
отвечу, что никогда ив существовало
проблемы снова выйти - поскольку
наивное Я античности не выходило
за пределы себя - по той простой

причине, что именно оно никогда и не проникало в себя. Чтобы выйти, нужно находиться внутри. Это не только общеизвестная истина, а не только игра слов. Я, как мы видели, это интимность: теперь речь идет о том, что оно вышло за пределы себя, сохраняя Свою интимность. Нет ли здесь противоречия? Но, поскольку в этом цикле лекций для нас настала пора сбора урожая, мы можем воспользоваться возможностью, которую перед этим взрастили. Итак, это противоречие пугает нас, поскольку нам уже известно, что всякая проблема состоит в раздвоенном противоречии,

возникшем перед нами, в противоречии кажущемся. Вместо того чтобы подпиливать опасные раздвоенные рога, притворяясь, то противоречия нет, сформулируем его со всей жесткостью, уподобив проблему хорошему породистому быку: Я - это интимность, то, что внутри себя, для себя. Однако необходимо, чтобы, не теряя этой интимности, Я соприкоснулось с миром, коренным образом отличающимся от пего, и вышло за свои пределы в этот мир. Стало быть, чтобы Я было в одно и то же время внутренним и внешним, ограниченным пространством и

чистым полем, заключением и свободой. Проблема может утешить хоть как, и хотя я объявил, что собираюсь произвести хирургическую операцию, похоже на то, что мне грозят превратности оказаться вредным для жизни, не надо понимать так, что эти упреки представляют собой возражения против идеалистической теории. Если бы она была в конечном счете истинной, т. е. если бы она не заключала в себе теоретических трудностей, несмотря на эти упреки, идеализм продолжал бы оставаться нетронутым и неуязвимым. Желание, жажда, сама жизненная

необходимость того, чтобы истина была другой, разбились бы о разум, не достигнув этой другой истины. Истина не потому истина, что она желанна; но истина не бывает обнаружена, если она не желанна, ее ищут потому, что она желанна. Следовательно, остается непорочным незапятнанный в незаинтересованный характер наших собственных стремлений к истине, но нельзя поручиться, что такой-то человек или такая-то эпоха не достигли той или иной истины влекомые к ней собственным интересом. Без этого не-было бы истории. Не связанные между собой

истины попадают в разум человека случайно, и он не знает, как поступить с ними. Как могла бы послужить Галилею истина Эйнштейна? Истин" осеняет лишь того, кто к ней стремится, кто жаждет ее, в чьем разуме для нее уготовано место. За четверть века до появления. теории относительности постулировалась физика четырех измерений, без абсолютного пространства и времени. Пуанкаре был готов воспринять Эйнштейна - как постоянно утверждал сам Эйнштейн. Скептик, чтобы развенчать истину, говорит, что ее порождает желание. Это, как и весь

скептицизм, совершенно абсурдно _
либо противоречиво. Если человек
стремится к определенной правде, он
стремится потому, что она
действительно истинна. Стремление
к правде исходит из самого себя,
оставляет само себя позади и идет
искать истину. Человек прекрасно
отдает себе отчет, когда он стремится
к истине и когда стремится лишь
создать видимость, другими словами,
когда он стремится ко лжи.

Поэтому сказать, что наша эпоха
стремится превзойти повое время и
идеализм, это не что иное, как
сформулировать а. скромных словах
и с покаянным видом то, что в более

торжественных и благородных выражениях звучало бы так: преодоление идеализма - это огромная интеллектуальная задача, высокая историческая миссия нашей эпохи, "тема нашего времени". И тому кто недоволен или с разочарованным видом спросит, почему 'наше время должно вводить новшества, изменять, превосходить что-то? зачем эта страсть, это рвение к новому, к тому, чтобы модифицировать, вводить в моду? - как мне уже не-раз возражали - я отвечу, что в течение этой или ближайшей лекции мы обнаружим явление столь же удивительное,

сколь. очевидное, - любое время, строго говоря, имеет свою задачу, свою миссию, свой долг ввести новое - и более, гораздо более того, - говоря буквально, "время - это не то, что измеряется хронометрами", время - это, я повторяю, буквально - "задача, миссия, нововведение".

Намерение превзойти идеализм вовсе не легкомыслие - это понимание задачи нашего времени, понимание нашей судьбы. Итак, приступим к борению с нашей проблемой, к схватке с философским быком, которого выпустило на нас наше время, о пятнистом минотавром.

Начинается последний круг нашей спирали, и, как всегда, я начале нового круга вновь звучит исходное определение философии как познания Универсума, или всего, что имеется. Первое, что необходимо нам сделать, это найти, какая реальность из всех является таковой несомненно, другими словами, что в Универсуме нам дано. В присущей мозгу деятельности первобытного и античного человека, нас самих, когда мы не предаемся занятиям философией, данным и реальным кажутся Космос, предметы, природа, совокупность всего физического. Это прежде всего воспринимается как

реальное, как бытие. Античный философ искал сущность вещей и придумывал теории, объяснявшие способ их бытия. Но идеализм полагает, что предметы, внешнее, Космос обладают спорной реальностью, спорным бытием, что несомненно существует лишь наше мышление о вещах, о внешнем, о Космосе. Таким образом, он обнаруживает новую форму реальности, действительно первичного бытия, бытия мышления. В то время как способ бытия вещи, любой вещи, носит характер статический и состоит в том, чтобы сохранять покой, в том, чтобы быть

тем, что есть и только, бытие самого движения как космической реальности неподвижно, представляет собой неизменяемую вещь, неизменное "движение" (заинтересованных я отсылаю к "Пармениду" и "Софисту" Платона, к XII книге "Метафизики" Аристотеля, к самим этим замечательным текстам, а не к учебникам, которые излагают чудесную античную философию в препарированном и оглупленном виде); бытие мышления заключается не только в бытии, но в бытии для себя, в осознании себя самого, в том, чтобы казаться бытием. Разве вы не чувствуете

коренного отличия способа бытия мышления и способа бытия вещи? Разве вы не чувствуете, что нам необходимы совершенно новые понятия, представления, категории, отличаются от античных, чтобы понять, чтобы теоретически, научно постичь эту реальность, или нечто, называемое мышлением, чем сейчас мы знаем лишь интуитивно, другими словами, что видим то, что в нем настоящее и не находим верных слов, мы описать и выразить его, слов, которые оказались бы, как перчатка по руке, впору тому, что есть в этом бытии особенное? нам недостает не только понятии, ведь и этот язык был

(ан естественным разумом для космического бытия, а античная философия лишь отшлифовала эти естественные концепции мира; мы сформировались в этой идеологической традиции; прежние идеи и слова привычно являются, чтобы предложить и нам для выражения этого нового способа бытия, открытого временем. Ведь речь идет ни о чем другом, как об обесценивании традиционного понимания идеи бытия, и поскольку в нем заключена самая сущность философии, пересмотр идеи бытия означает коренной пересмотр философии. В этой борьбе с давнего

времени принимаем участие мы, несколько человек. в Европе Только что созревший плод этой работы я хотел бы предложить в этом курсе. Я думаю, это довольно дерзкое новшество для слушателей салона Рекс и Театра инфанты Беатрис.

Ведь я предлагаю вам перестать относиться с уважением к самой достойной и постоянной идее нашего разума: к идее бытия. Я объявляю шах и мат бытию Платона, Аристотеля, Лейбница, Канта и разумеется, также и бытию Декарта. Следовательно, то, что я собираюсь сказать, не будет понятно тому, кто упорно а слепо следует смыслу слова

"бытие", который справедливо подвигнется пересмотру. Мышление существует, и в той мере, в какой существует для себя - состоит в осознании самого себя, в кажимости самому себе размышлении относительно самого себя. Это, следовательно не бытие-покой, а размышление. Но можно сказать: поскольку вы говорите, что движению присуще бытие-покоя, т. е. оно. представляет собой именно движение, данное раз и навсегда, им. изменений, тогда, если мышление состоит из раздумий оно раздумье имеет состав постоянный, неизменный, покойный, но вся ком

случае, раздумье, в свою очередь, не что иное, как мое мышление бытие или реальность, которые вымышлены, которые кажутся мне "размышлением". И таким образом последовательно со всех сторон мы обнаруживаем лишь бытие, состоящее чистой рефлексии о себе самом, в создании себя самого, в движении к самому себе - мы обнаруживаем только не покой. Это следует понимать не как метафору, а совершенно буквально бытие мышления это не покой, это не статическое бытие, а активное проявление себя, дающее бытие самому себе.

Для того чтобы мышление существовало и было достаточным "того о чем мыслится, а мыслить что-либо - значит создавать его давая ему существование, в именно поскольку я мыслю. создаю осуществляю его. Как только мышление обрело бытие покой. он перестало бы существовать, так как Я не перестаю бы создавать его. Вас не должно пугать, если сейчас понимание этого удивительного процесса пройдет мимо. Никто не может мгновенно овладеть тысячелетними навыками понимания. Конечно когда вы слушали меня, бывали моменты,

когда все казалось ясным недолгие моменты, и тут же, как угорь, интуиция ускользала от вас и вы вновь возвращались к ментальному требованию бытия- покоя вместо бытия по существу беспокойного не должно огорчать вас, потому что то же самое скор вновь появится перед вами в виде гораздо более понятном и Вернемся теперь к тому, что - надеюсь - не доставляет нам труда и кажется очевидным. Мышление поскольку состоит исключительно в отдавании себе отчета в себе самом не подвергать сомнению собственное существование: если я мыслю А, то очевидно, что существует мысль. А

поэтому первая истина о том, что имеется, такова: мышление существует. Таким образом, мы завершим круг. Все остальные реальности могут быть иллюзорными, но сама иллюзия, то, что мне кажется таким или иным, мышление существуют без всякого сомнения.

Так начинает Декарт. Но нет, Декарт говорит не как мы: мышление существует, но - кто же не знает этой фразы? - "Мыслю, следовательно, существую". В чем различие между высказыванием Декарта и нашим? Картезианская формулировка состоит из двух

членов: один звучит "мыслю", другой - "существую". Сказать "мыслю" и сказать "мышление существует" значит одно и то же. Различие же между фразой Декарта и нашей состоит в том, что его не удовлетворяет то, что вам кажется достаточным. Заменяя, как в математическом уравнении, равное равным, поставим вместо "мыслю" - "мышление существует", и тогда более ясно увидим смысл картезианской леммы: "мышление существует, следовательно, я существую".

Хирургическая операция в разгаре: ланцет уже вошел в cogito, он

погружен в самые внутренности идеализма. Будем осторожны.

Для нас сказать, что мышление существует, есть, значит сказать, что существует и есть мое Я. Потому что нет мышления, которое не содержало бы в качестве одного из своих элементов субъект, который его мыслит, равно как и объект мышления. следовательно, если мышление существует и в том смысле, в каком оно существует, должен существовать его субъект, или Я, его объект. Этот смысл существования является новым и предшествующем мышлению, это проявление существования, это

бытие для меня. Мое мышление - это то, что является для меня мышлением: я есть в существую, пока и поскольку и лишь потому, что мыслю что существую, и таким образом, как мыслю, что существую . Эту новость стремился принести миру идеализм, и это подлинный спиритуализм, остальное лишь магия. Но Декарт, открывший это явление и имевший достаточно интуиции относительно некоего "мышления", не отказывается от космических категорий, но теряет спокойствие перед тем, что видит, т. е. перед бытием, состоящим в простой "видимости", чистой

возможности, динамизме
размышления. Подобно ученому
античности, подобно схоласту-
томисту, он должен ухватиться а
нечто более надежное - за
космическое бытие. И он ищет за
этим бытием мышления, состоящего
в простом проявлении тебя,
относящегося к себе, отдающего себе
отчет в себе - бытие-пещь,
статическое бытие. Мышление
перестает быть для него
реальностью, как только его открыли
в качестве реальности первичной, и
превращается в простое проявление,
или свойство, "другой реальности,
скрытой и статичной. Приводя

сказанное к "артезианскому
высказыванию, мы получим:
мышление несомненно существует,
но поскольку оно представляет собой
чистое проявление самого себя,
чистую видимость, то не является
реальностью, бытием в
традиционном смысле слова.
Поскольку я,. Декарт сомневаюсь во
всем, я не согласен подвергнуть
сомнению истину античных
категорий, и в частности
классическое понятие бытия -
наивное понятие; я должен
построить энтимему: если
несомненно, что существует
видимость мышления, то необходимо

дометить реальность, скрытую да
этой видимостью, то, что. видите: в
этой видимости, что ее
поддерживает и действительно. ею
является. Эта скрытая реальность
именуется Я, это Я - реальность
невидимая мне, неочевидная,
поэтому я должен прийти к ней
путем умозаключения, хотя и
непосредственного, поэтому,. чтобы
утверждать существование Я, мне
нужно пройти по мостику
следовательно". "Мыслю,
следовательно, существую", Но кто
это Я, которое существует? А, вещь!
Я - это не мышление, а вещь,
свойством, проявлением, феноменом

которой является: мышление. Мы вновь вернулись к инертному бытию греческой онтологии. Одной и той же фразой, одним и тем же жестом Декарт открывает вам новый мир, берет его назад и уничтожает. У него есть интуиция, видение бытия для себя, но он представляет ее себе как субстанциальное бытие, на греческий манер. Эта действительность и внутренняя противоречивость, это огорчительно; несоответствие самому себе отличают идеализм и современность, отличают Европу. Европа до сих пор очарована, околдована Грецией, которая в самом деле зачаровывает. Но мы из всей

Греции выберем для подражания
Улисса, а у него - лишь. изящество, с
которым он избежал чар Цирцеи и
Калипсо, среди- средиземноморских
волшебниц, возлежавших на
пенистых островах,. напоминающая
сирен и чуточку мадам Рекамье,
вытянувшуюся на кушетке. И дар
Улисса, о котором молчит Гомер, но
знают старые средиземноморские
моряки, - единственное средство
освободиться от рокового пения
сирен - это петь наоборот, от конца к
началу. Кстати, Улисс был первым
Дон Хуаном: покинув будничную
Пенелопу, он встречает все
очаровательные создания нашего

моря, видит их, влюбляет в себя и затем оставляет.

Наш ученичество у греков кончилось: греки не классики, они просто архаичны - архаичны и конечно же... всегда прекрасны, Этим они особенно интересны для нас. Они перестают быть нашими педагогами и становятся вашими друзьями. Давайте станем беседовать с ними, станем расходиться с ними в самом главном. Вопрос, без сомнения, самый трудный и, кроме того, совершенно новый - вообще этот первый публичный курс лекций для жителей Мадрида затрагивает лишь наиболее трудовые и

непонятные проблемы философии, я обещаю вам другие-курсы по темам более доступным, - вопрос, повторяю, коренится. в следующем.

Проставим себе, что мы размышляем до того, как открыли нашу субъективность, что соответственно для нас нет большей реальности, чем вещи кругом. Посмотрим, какую мысль о сущности этих вещей мы выработаем. Например, в копе, которого мы видим на ипподроме, что является сущностью вещи-коня? Мы видим его абрис, его масть, крепость его мускулов. Это ли сущность коня, его реальность? Абрис, масть, крепость его мускулов

при касании - вещи различные, конь
- это их целостность, вернее,
единство, в котором слились все
другие воспринимаемые свойства.
Но та вещь, в которой соединились
масть, абрис и прочее, невидима. Я
предполагаю, я выдумываю ее, это
толкование наблюдаемого явления,
которое состоит в постоянстве
совместного появления этого цвета и
этой формы. Истинная сущность
коня скрыта под этими имеющимися
вещами: цветом, формой и т. д. Но
вещь, которая мыслится как опора,
соединяющая другие вещи,
называемые "свойствами коня", не
собственно конь. Стало быть,

сущность этого животного не его
видимая, внешняя сущность, а,
напротив, нечто, в чем состоит опора
видимого, основа его свойств,
сущность, которая имеется за ними,
его основное существо. Сущность -
это вещь, которая, я полагаю,
имеется за тем чтоб я вижу в пещи,
за ее видимостью. Но кроме того,
конь движется, с годами меняет цвет
и даже внешний вид в результате
выполняемой работы - стало быть,
его видимости, варианты
бесконечны. Если бы конь состоял из
видимостей, это получился бы не
один конь, а бесчисленное
множество, и все разные. Это значит,

что конь был бы такой, другой в еще иной, - стало быть, ни тот, ни другой, ни какой-либо определенный. Но предположим, что за этими видимостями имеется нечто незримое, постоянное, что производит эти видимости одну за другой. Тогда мы скажем, что это трансформации одного и того же неизменного существа: сущности коня. В то время как меняется внешность коня, сущность его в действительности неизменна и неподвижна. Сущность, кроме того, является основой различных свойств, представляет собой постоянный субъект изменений, или акциденций.

Наиболее характерное выражение греческого понимания бытия - это бытие сущностное, субстанциальное, бытие неподвижное и неизменное. Даже в последней субстанции, в начале сего изменения и движения, в аристотелевском Боге, мы находим существо, которое движет, но не движется - неподвижный. Эта идея субстанциального и статического бытия в высшей степени справедлива и нерушима, если не иметь других реальностей, кроме приходящих к нам извне, воспринимаемых нами, так как в действительности от этих внешних пещей перед нами лишь видимости. Но копь существует не

потому, что видится, и не в своей
видимости - о ней мы точно можем
сказать, что это лишь видимость, а
не реальность. Попробуйте принять
за реальность, за нечто достаточное
и поддерживающее само себя в своей
бытии, чистый цвет. Вы сразу
заметите, по это так же невозможно,
как существование аверса безе
реверса, верха без низа. Цвет
проявляется как фрагмент
реальности, которая завершает его,
материв, которая является его
носителем. Это предполагает, стало
быть, реальность, которая позволяет
ему существовать, и пока мы ее не
найдем, нам не будет казаться, что

мы достигли подлинного, окончательного бытия. Об этом я упоминал в своих первых лекциях как о наиболее традиционном и известном - потому что нужно начинать сначала, чтобы прийти к пониманию. Это я говорил тогда именно для того, чтобы затем опровергнуть, как и многое другое, выдавшееся столь известным.

Вот поэтому Декарт, когда видит, что мышление состоит в том, чтобы являться само себе, не верит, что этого само себе-достаточно, и слепо, механически применяет устаревшую категорию субстанции и ищет субстанциальную вещь за

мышлением, ею испускаемым, излучаемым, в котором она проявляется. Так, ему жжется, что он обнаружил сущность мышления не в самом мышлении, а в вещи, которая мыслит. Для него это-субстанция. Стало быть, с одной стороны, мышление - это единственное, что несомненно существует, поскольку ему достаточно быть видимостью, чтобы существовать, с другой стороны, для существования оно нуждается в скрытой, незримой основе, вещи, которая мыслит. Вам не кажется, что мы следуем идее магнита, магическому обыкновению полагать за видимым, в качестве его

объяснения, сущее, которое мы не видим и которое само по себе тайна? На самом деле никогда ни у кого не было интуиции субстанции. Декарт приравнивает первую часть высказывания, которая очевидна - мышление существует, - ко второй, в высшей степени спорной, бесполезной и искажающей способ бытия мыслителя, закрепляя и парализуя его в субстанциальном существе, или вещи. Нет, я и мышление - это не одно и то же. Мышлению для существования не нужно ничего; если бы было так, Декарт не-смог бы принять первую часть, не смог бы сказать: -

мышление существует - и обосновать на этой истине свой вывод - следовательно, существую.

Следует признать, что эта картезианская формулировка - гениальная и давшая множество семян истины, которыми вопреки самой себе, она располагает - в частности и в целом представляет собой клубок противоречий. Поэтому ее почти никто не мог понять, надлежащим образом за все три века ее существования. И будете уверены, эти немногие достигли понимания истины, поскольку обладали смелостью допускать, что сначала не понимали ее. Я прожил три года в

немецкой земле, где были люди, считавшиеся специалистами по картезианству. Я прилежно осваивать эту дисциплину день за днем, месяц за месяцем. Что ж, я уверяю вас, в Марбурге никогда не понимали формулировки Декарта, основы идеализма, философии, которую Марбург стремится культивировать. Бесплодность эта вызвана тем, что можно счесть каким-то пороком умов: они пытались извлечь из фразы смысл, совершая в большей или меньшей степени насилие, и это называли ее пониманием. Хотя, чтобы понять фразу, нужно задать вопрос, единственное ли значение

она имеет, т. е. единственное ли значение соответствует фразе целиком. "Cogitoo, sum" может иметь иного, бессчетное число значений, но на самом деле - лишь одно, и его надо понять.

Декарт субстантивирует субъект мышления и, поступив таким образом, отделяет его от мышления, превращает во внешнюю космическую вещь, полагая, что он не состоит в мышлении и только в мышлении и лишь поэтому является внутренним для самого себя и дает бытие самому себе. Мыслящая вещь не мыслит о себе самой - подобно тому, как субстанция камня или коня

не состоит в том, чтобы казаться самому себе конем или камнем. Итак: я лишь то, чем кажусь себе, - именно так, без колебаний, решительно. Остальное - магия.

Неспособность идеализма выдумать новый способ бытия, который позволяет сохранить верность своему тезису, обнаруживается не менее ясно, если от субъекта мышления перейти к объекту. Идеализм предлагает мне основывать мои убеждения на внешней моему разуму реальности, которой, как кажется, обладает этот театр. На самом деле, говорит он мне, этот театр лишь мысль, вид или образ театра. То есть

он ничем не отличается от химеры, о которой мы недавно говорили и которую расценили как воображаемое существо, забрав из реального сада и поместив в источник, иначе - в разум. Вещи становятся лишь "содержавшем сознания". Это термин, который часто употреблялся в философии XIX в., которого не было у Декарта, хотя он мог и 'должен был бы быть, но возник лишь в книгах Канта. Благодаря ему мы берем внешнюю реальность и помещаем ее в разум. Но сохраним спокойствие. Посмотрим, что надежно и что неприемлемо в этом

фундаментальном положении идеализма. Неважно то, что предполагаемая внешняя реальность мира лишь предполагаема, т. е. что реальность в себе, независимая от меня, сомнительна. Стало быть, философия не может принять ее. о это означает? Это означает просто, что внешний мир существует не во внешнем мире, а в моем осознании .его. Где же тогда нам его поместить? В моем осознании, моем разуме, моем мышлении, во мне. Идеализм рассматривает этот вопрос как дилемму: либо этот театр обладает абсолютной реальностью вне меня, либо он обладает ею во мне; он

должен где-то находиться, бы существовать, и несомненно, где-то находится. Я не могу поручиться, что он существует вне меня, так как не могу выйти пределы себя и очутиться в этой предполагаемой абсолютной реальности. Значит, не остается ничего другого, как признать. по существование во мне в качестве содержимого разума.

Но идеализм должен был действовать более осмотнительно. Прежде чем решить, не существуют ли иные, чем эти две, возможности - вне меня или во мае, - он должен был спокойно поразмыслить над следующим.

Понятен ли смысл выражения "содержание сознания, или разума", когда речь идет об этом театре? Или это, строго говоря, бессмыслица, т. е. сочетание слов, противоречащих одно другому, что-то наподобие "круглого квадрата"?

Рассмотрим это: в каком смысле я употребляю слова "этот театр"? Под этим театром я понимаю помещение в двадцать или около того метров высотой, столько же - шириной, с синим занавесом, задником и т. д. Но если это составляет часть меня, я могу сказать, что, во всяком случае, часть меня, мой разум, имеет

двадцать метров в высоту и столько же в ширину; в результате я обладаю протяженностью, а мое мышление занимает пространство, причем часть его - синего цвета. Абсурд высказывания тут же становится понятен, и идеалист защищается, говоря: я беру назад выражение "театр - содержание сознания" и вместо этого говорю "содержание моего мышления, или сознания, это, разумеется, только моя мысль о театре, образ, или воображение, этого театра". Тогда действительно все сходится: я думаю, я воображаю, нет ничего удивительного в том, что моя мысль, мое воображение

составляет часть меня или является моим содержанием. Но тогда речь не идет о театре: театр мы должны оставить снаружи. Значит, неправильно, что он или снаружи, или внутри. Театр, внешняя реальность, всегда остается снаружи, он не во мне. Мир - это не мое представление по простейшей причине, что в этой фразе Шопенгауэра, как почти всегда в идеализме, употребляются слова с двойным, неясным смыслом. Я представляю себе мир. Мае здесь принадлежит акт представления, и в этом прямой смысл слова "представление". Но мир, который я

себе представляю, это не мое представление, а представляемое. Шопенгауэр просто смешивает в одном слове "представление" два понятия, о связи которых идет спор, - мысль и мыслимое. Именно за эту категоричность суждения я в прошлый раз назвал грубой эту известную фразу, название его занимательной книги. Она больше чем груба - одна очень современная девица назвала ее просто фразерством.

Но где же в конечном счете находится театр? Ответ очевиден: он не составляет части моего мышления внутри меня, но и не находится вне

его, если под "вне" понимать "не иметь ничего общего", - он вместе, нераздельно вместе с моим мышлением, ни "в", ни "вне", а с моим мышлением, подобно тому как аверс связан с реверсом, лицо с изнанкой, без этой связи реверс превратится в аверс. Вспомните, каким образом мы рассуждали, наблюдая за тем, как идеализм формулировал свой тезис: я вижу сад, закрываю глаза и перестаю его видеть. Это бесспорно. Что здесь произошло? Здесь одновременно заключены мое видение и сад, мое сознание и его объект, мое мышление и то, о чем я мыслю. Но вот я снова

открываю глаза, и сад появляется
вновь, - стало быть, как только
начинает существовать мышление,
зрение, начинает существовать я его
объект, видимое. Это явление
бесспорное. И так как философия
стремится к тому, чтобы слагаться
лишь из явлений бесспорных, ничего
не остается, как принять вещи
такими, какие они •есть, и сказать:
внешний мир не существует без моей
мысли "о нем, но внешний мир не
является моим мышлением; я не
театр и не мир - я перед этим
театром, я с миром, существуем мир
и я. И обобщая, можно сказать: мир
является не реальностью,

существующей в себе, независимо от
меня, - а тем, что он для меня и
передо мной, и пока больше ничем.
Пока мы движемся вместе с
идеализмом. Но добавим: поскольку
мир - это лишь то, чем он мне
кажется, он будет лишь кажущимся
Существом, и нет причины, которая
заставляла бы нас искать его
субстанцию за этой видимостью - ни
в субстанциальном космосе, подобно
античным ученым, ни превращая
самого себя в субстанцию, которую
носишь при себе, как свое
содержание или представление, как
вещи, которые я вижу, трогаю,
воображаю. Это великое

предубеждение античности, которое должна исключить теперешняя идеология. Этот театр и я находимся друг перед другом, без посредников: он существует, потому что я его вижу, и является, несомненно, по крайней мере, тем, что я вижу, и таким, как я вижу, и это исчерпывает его бытие явлением мне. Но он не во мне и не смешивается со мной: наши отношения прекрасны и недвусмысленны. Я тот, кто видит его сейчас, он то, что я сейчас вижу, - без него и других вещей, подобных ему, мое зрение не существовало бы, т. е. я бы не существовал. Без объектов нет субъекта. Ошибка

идеализма состояла в том, что он превратился в субъективизм, в подчеркивание зависимости вещей от того, чтоб я о них мыслю, от моей субъективности, во не обращал внимания на то, что моя субъективность также-зависит от существования объектов. Ошибкой было утверждать, что я поглощаю мир, вместо того чтобы оставить нас неразделимыми, соседствующими, близкими, но тем самым различными. Смешно было бы сказать, что я синий, потому что вижу синие предметы, так же смешно, как утверждать, что синий предмет - это одно из моих

состояний, часть моего Я, потому что он видим мною. Я всегда с собой, Я не что иное как то, что я мыслю о себе, я не могу выйти за пределы себя - но чтобы обнаружить мир, отличный от меня, мне не обязательно выходить за свои пределы, он всегда рядом со мной, и мое бытие такое же, как бытие мира. Я - интимность, такая в меня не входит никакое трансцендентное существо, но в то же время я - место, где появляется обнаженный мир, который не является мной, чужой для меня. Внешний мир. Космос, соседствует со мной в этом смысле

он близок мне, но он - не я и в этом смысле.

Значит, нам нужно внести поправки в исходный момент философии. Основное данное Универсума состоит не просто в том, что существует мышление и существую я, мыслящий, - но в том, что, если существует мышление, то существую я, который мыслит, и мир, о котором я мыслю, - и существует одно с другим, так что их невозможно разделить. Но ни я не являюсь субстанциальным бытием, ни мир, но оба мы находимся в живой связи: я тот, кто видит мир, а мир - то, что видимо мною. Я существую для

мира, а мир - для меня. Если нет вещей, чтобы видеть, думать и воображать, я бы не видел, не думал и не воображал, т. е. не существовал бы.

Лейбниц в том фрагменте труда, где он дает беглую критику своего предшественника Декарта, замечает, что, по его мнению, относительно Универсума существует не единственная исходная версия, а две в равной степени нераздельно изначальные; одна гласит; существует мышление, а другая: я мыслю о многих вещах. Удивительно, что до сих пор эта удачная мысль не была

использована никем, даже самим Лейбницем.

В итоге, господа, в суровых и ожесточенных поисках исходных данных Универсума, несомненно в Универсуме имеющихся, я обнаружил первичное и фундаментальное явление, которое основывается и утверждается на самом себе. Это явление - совместное существование Я, или субъективности, и его мира. Одного без другого не существует. Я не могу осознать себя иначе, чем осознавая объекты, окружение. Я не мыслю, если не мыслю о вещах, - стало быть, обнаруживая себя, я всегда

обнаруживаю рядом с собой некий мир. Я, являясь субъективностью и мышлением, оказываюсь частью двойственного явления. Другую часть которого составляет мир. Стало быть, радикальным и подлинным данным является не мое существование, не то, что я существую, а мое сосуществование с миром.

Трагедия идеализма коренится в том, что подобно алхимику преобразуя мир в "субъект", в содержание субъекта, он замыкал его в самом себе, и было невозможно объяснить, каким образом если этот театр лишь мое воображение, часть меня, он

кажется настолько отдельным от меня. Но сейчас мы добились

- совершенно иного положения: мы осознали, что несомненна связь двух неразделимых понятий - того, кто мыслит, отдает себе отчет и другого - о чем я отдаю себе отчет. Сознание продолжает оставаться интимным, но теперь оказывается интимным и близким не только моей субъективности, но и моей объективности, миру, который очевиден для меня. Сознание представляет собою не заточение, а напротив, удивительнейшую первичную реальность, являющуюся основой любой другой, состоящей в

том, что некто, я, являюсь собой именно тогда, когда отдаю себе отчет в различных вещах, в мире. Таково высшее своеобразие разума, которое необходимо принять, исследовать и описать самым тщательным образом, таким, каково оно во всей его удивительности и великолепии. Я вовсе не закрыто, оно по преимуществу открыто. Видеть этот театр - то же, что открывать себя тому, что не является мной.

Это новое положение не парадоксально: оно совпадает с естественной деятельностью разума, сохраняет ее и признает ее здравый смысл. Оно также преодолевает и

реалистический тезис, который служит основой античной философии, ее сущностью: внешний мир не иллюзия, не галлюцинация, не субъективный мир. Все это достигается новым положением путем отстаивания и очищения идеалистического тезиса, утверждающего, что несомненно существует лишь то, что кажется мне существующим. Вы видите, как дочерние идеи, новые истины, несут внутри себя породившие их истины древние, плодоносные древние истины? Повторим: любое преодоление - это сохранение. Неверно, что существует лишь

сознание, мышление, Я. Истина в том, что я существую вместе с моим миром и в моем мире и я состою в том, чтобы наниматься этим миром, видеть его, воображать, мыслить о нем, любить его и ненавидеть, быть печальным или радостным в нем и из-за него, двигаться в нем, изменять его и одерживать его. Ничто из этого не могло бы быть мною, если бы мир не сосуществовал со мной, передо мной, кругом, окружая меня, показывая себя, повергая меня то в восторг, то в отчаяние.

Но что это? С чем мы нечаянно столкнулись? Это исходное определение - кто-то, кто видит и

любит, и ненавидит, и требует от мир, и в нем движется и совершает усилия, страдает из-за того - не это ли испокон веков называется в самом скромном универсальном словаре "моей жизнью"? Что это такое? Это просто значит, что первоначальная реальность, явление явлений, данное Универсума, то, что дано мне, это... "моя жизнь" - только мое Я, не мое замкнутое сознание, - это уже истолкование, идеалистическое истолкование. Мне дана "моя жизнь", моя жизнь - это прежде всего то, что я нахожусь в мире, не в каком-нибудь неопределенном, а в этом мире, в нем теперешнем, и не

просто в этом театре, а именно в этот момент, снимаясь тем, чем я в нем занимаюсь, в этом театральном фрагменте моего жизненного мира, - я философствую. Абстракции топились. В поисках не вызывающего сомнений явления я обнаружил не вещь, производящую мышление, а вот что: себя, мыслящего, себя, философствующего в данную минуту. Вот почему философия прежде всего обнаруживает того, кто философствует, кто хочет мыслить о всеобщем и для этого ищет нечто несомненное. Но обнаруживает, заметьте это, не философскую теорию, а философствующего

философа, т. е. занимающегося сейчас философствованием, тогда как потом этот же самый философ может печально шагать по улице, танцевать в дансинге, или страдать от колик, или быть влюбленным в мимолетную красоту. Другими словами, обнаруживает философствование, теоретизирование как жизненное явление и жизненное действие, как частность его жизни и в его жизни, в его огромной, радостной и печальной, полной надежд и ужасов жизни.

Первое, что должна сделать философия, - определить, что такое

эта данность: "моя жизнь", "наша жизнь", жизнь каждого. Жизнь - это способ радикального бытия: любая Другая вещь и способ бытия обнаруживается мной в моей жизни, внутреннее, как ее деталь, они связаны. В ней находится все остальное, как бы включенное в нее, как бы переживаемое. Самое трудное математическое уравнение, самое абстрактное и значительное понятие философии, сам Универсум, сам Бог - это то, что я обнаруживаю в моей жизни, то, чем я живу. И их радикальное и первичное бытие, стало быть, пережито мной, и я не могу определить, чем они являются в

качестве пережитых, если не выясню, что значит "жить". Биологи употребляют слово "жизни", чтобы обозначить феномен органических существ. Органика - это лишь класс вещей, которые обнаруживаются в жизни. Наряду с другим классом вещей, носящих имя неорганических. Важно то, что философ говорит нам об организмах, но так же очевидно' что мы, сказав, что живем, и говоря о "нашей жизни", жизни каждого, придаем этому слову смысл более непосредственный, более широкий, более решительный. Дикарь и невежда не знают биологии и, однако, вправе говорить о "своей

жизни", поскольку под этими словами мы имеем в виду огромное явление, предшествующее всей биологии, всей науке, всей культуре, - явление великолепное, фундаментальное, ужасное, которое предполагает и подразумевает все остальные явления. Биолог обнаруживает "органическую жизнь" в пределах своей собственной жизни, как ее момент: это одно из его жизненных занятий и ничего больше. Биология, как всякая наука, представляет собой деятельность, или форму образа жизни. Философия, вернее, философствование, бесспорно,

является жизнью - как бег,
влюбленность игра в гольф,
возмущение политикой, светские
занятия.

Все это формы и образы жизни.

Стало быть, коренной вопрос философии в том, чтобы определить этот образ бытия, эту первичную реальность, которую мы называем "вашей жизнью". Итак, жить - это то, чего никто не может сделать за меня, - жизнь существует без права передачи это не абстрактное понятие, это мое индивидуальнейшее бытие. В первый раз философия

становится частью чего-то не являющегося абстракцией.

Это новая панорама, о которой я говорил, - самая древняя из всех та, что всегда остается позади.

Философия для начала идет сама позади себя, рассматривает себя как форму жизни, конкретно и истинно; в итоге она скрывается в этой жизни, тонет в ней - она пока что размышление о нашей жизни.

Древняя панорама оказывается самой новой. Таково огромное открытие нашего времени. Оно настолько ново, что для него не подходит ни одно понятие традиционной философии: образ

бытия, который представляет собой жизнь, нуждается в новых категориях - не в категориях античного космического бытия; речь идет именно о том, чтобы избежать их и найти категории жизни, сущность "нашей жизни".

Вы видите: то, что в течение сегодняшней лекции было трудным для понимания, неуловимым, призрачным, игрой слов, становится ясным, простым и таким, как будто вы думали об этом бессчетно. Таким ясным, таким открытым и очевидным, что иногда даже слишком, так что, услышав это - заранее прошу прощения, - услышав,

вы окажетесь несколько сбитыми с толку, поскольку мы неизбежно коснемся тайны жизни каждого. Давайте раскроем тайну. Эта тайна - жизнь.

Лекция X

[Новая реальность и новая идея реальности. - Нищее бытие, - Жить - это оказаться а мире. - Жить - это постоянно решать, чем мы будем.]

В предыдущей лекции мы с вами обнаружили в качестве исходного данного Универсума, стало быть в качестве первичной реальности, нечто совершенно новое, отличное от

космического бытия, из которого исходили древние, и от субъективного бытия, из которого исходят современные ученые. Но то, что мы обнаружили новую реальность, новое бытие, неизвестное ранее, не исчерпывает значения этих слов. На первый взгляд, самое большее, речь идет о новой вещи, отличной от уже известных, но все же такой же "вещи", как все остальные, - речь идет о некоем бытии или реальности, отличных от общеизвестных, но в конечном итоге отвечающих тому, что обычно принято обозначать словами

"реальность" и "бытие", - словом, что во всех отношениях это открытие подобно обнаружению неизвестного животного для зоологии; животное будет новым, но поскольку животные уже известны, здесь применимо понятие "животное". Как ни жаль, я должен сказать, что речь идет о чем-то гораздо более важном и определяющем, чем все это. Мы обнаружили реальность совершенно новую, стало быть коренным образом отличающуюся от всего известного в философии, стало быть, нечто, ни чего традиционные понятия реальности и бытия не поднят. Да, но несмотря на это, мы применяем их,

потому что того открытия и в ходе него мы не располагаем другими. Прежде -чем создать новое понятие, мы должны иметь и видеть нечто Совершенно новое. Следовательно, это не только открытие новой реальности, но и начало новой идеи бытия, новой онтологии - новой философии, и в той мере, в какой она оказывает влияние на жизнь, - всей новой жизни.

Для античных ученых реальность, бытие обозначали "вещь"; для ученых нового времени бытие означало "интимность, субъективность"; для нас бытие означает "жизнь", - стало быть, интимность по отношению к

самому себе и к вещам. Мы утверждаем что достигли нового, более высокого духовного уровня, поскольку, если мы посмотрим себе под ноги, на исходную точку - "жизнь", то обнаружим, что в ней сохранены, объединенные и преодоленные, античность и новое время. Мы на более высоком уровне - на нашем уровне, - на высоте времени. Понятие высоты времени не фраза, а реальность, как мы очень скоро увидимся.

Вспомним в нескольких словах путь, который привел нас к тому чтобы принять "жизнь" в качестве исходного данного, первичной

реальности, несомненного в
Универсуме. Существование вещей
как существование независимое от
меня сомнительно, следовательно,
оставим реалистическое понятие
античных философов Напротив,
несомненно, что я мыслю о вещах,
что мое мышление существует и что,
стало быть, существование вещей
зависит от меня, представляет собой
мою мысль о них; такова бесспорная
часть идеалистического тезиса.
Поэтому мы принимаем его, но,
чтобы принять, хотим лучше понять
и задаем вопрос- в каком смысле и
каким образом зависят от меня вещи,
когда я мыслю о них, - чем являются

вещи, когда я говорю, что они лишь мои мысли? Идеализм дает ответ: вещи зависят от меня они являются мыслями в том отношении, что представляют собой содержание моего сознания, моего мышления, состояния моего Я. Это вторая часть идеалистического тезиса, и ее мы не принимаем. Мы не принимаем ее, потому что это бессмыслица- не потому что она неистинна, а по причине более простой. фраза чтобы не быть истинной, должна иметь смысл: из ее доступного смысла мы делаем вывод, что она ложна, поскольку понимаем что утверждение $2 + 2 = 5$ ложно. Но эта

вторая часть идеалистического тезиса лишена смысла, является нелепостью наподобие "круглого квадрата". Пока этот театр - театр он не может быть содержанием моего Я. Мое Я не обширно и не синего цвета а этот театр синего цвета и обладает объемом, что я содержу в себе и чем являюсь, это лишь мое мышление и видение этого театра, мое мышление и видение звезды, но не тот и не другая. Зависимость между мышлением и его объектами не в том, что они содержатся во мне в качестве моих составляющих, как полагал идеализм, а, наоборот, в том, что я нахожу их как отдельные,

отдаленные от меня, находящиеся передо мной. Значит, утверждение, что сознание есть нечто закрытое, отдающее себе отчет лишь в том, что содержится внутри него, ложно. Напротив, я отдаю себе отчет, что мыслю, когда, например, осознаю, что вижу звезду или думаю о вей; и тогда, из того, что я отдаю себе отчет, следует, что существуют две вещи различные, хотя и связанные одна с другой: я, видящий звезду, и звезда, видимая мною. Я нужен ей, но и мне тоже нужна она. Если бы идеализм утверждал только: существует мышление, субъект. Я, он бы утверждал нечто истинное, то

неполное. Но он не останавливается на этом, а добавляет: существуют только мышление, субъект, Я. Это ложно. Если существую я, мыслящий, то существует и мир, о котором я мыслю. Стало быть, основной истиной является мое сосуществование с миром.

Существовать - это прежде всего сосуществовать, т. е. видеть нечто, не являющееся мной, любить другое существо, страдать от каких-то вещей.

Ведь зависимость вещей от меня не является односторонней, как предполагал обнаружить идеализм, она не только в том, что вещи

являются тем, что я мыслю и чувствую, а также и в обратном, я тоже завишу от них, от мира.

Следовательно, речь идет о взаимозависимости, о соотношении, словом, о сосуществовании.

Почему идеализм, у которого такая сильная и ясная интуиция мышления, понимает его так плохо, фальсифицирует его? По той простой причине, что принимает его без обсуждения традиционного смысла понятий "быть" и "существовать". В соответствии с этим укоренившимся смыслом "быть, существовать" значит "быть независимым", поэтому для прежней

философии единственное бытие, которое действительно есть, это Абсолютное Бытие, представляющее собой вершину онтологической независимости. Декарт яснее, чем кто-нибудь до него, почти цинично формулирует идею бытия, когда определяет субстанцию, как я уже упоминал, сказав, что это "*quod nihil aliud indigeat ad existendum*". Бытие, "которое, чтобы существовать, не нуждается ни в ком ином - "*nihil indigeat*". Субстанциальное бытие - это самодостаточное - независимое - бытие. Столкнувшись с очевидным явлением - тем, что исходная и несомненная реальность - это я,

мыслящий, и вещь, которую я мыслю, стало быть двойственность и соотнесенность, ее не решаются принять беспристрастно, а говорят: так как эти две вещи - субъект и объект - существуют вместе, они, стало быть, зависят друг от друга, и я должен решать, что из них независимо, что не нуждается в другом, самодостаточно. Но мы не находим никакого несомненного основания для предположения, что быть одному может означать "быть самодостаточным". Напротив, оказывается, что единственно несомненное бытие, обнаруженное нами, это взаимозависимость Я и

вещей: вещи - это то, чем они являются для Меня, а я тот, кто выносит их, - стало быть, несомненное бытие пока является не самодостаточным, а "нищим бытием". Быть - значит одному нуждаться в другом.

Эта модификация необыкновенно важна, но она так очевидна, ясна и проста, настолько на поверхности, что становится просо стыдно. Теперь вы видите, что философия - это постоянное стремление к поверхностности? Игра, где карты держат так, чтоб; они были видны противнику?

К исходным данным, как мы сказали, является сосуществование мое и вещей. Но едва мы сказали это, как начинаем догадываться, что определять как "сосуществование" способ существования меня и мира, эту первичную реальность, одновременно единую и двойственную, это великолепное явление сущности двойственности, значит оказаться некорректными, поскольку со-существование означает не более чем пребывание одной вещи ряда с другой, существование и той и другой. Статический характер существования и бытия, этих древних понятий, искажает то, то мы хотим

выразить. Потому что на самом деле не существует мира самого по себе рядом со мной и меня самого ряда с ним, но мир - это то, что существует для меня, динамическое бытие передо мной, напротив меня, а я - тот, кто оказывать на него воздействие, кто смотрит на него и кто выдерживает его, любит его или ненавидит. Статическое бытие признав отжившим - мы увидим его второстепенную роль - и должно быть замещено бытием действенным. Бытие мира передо мной - это, скажем, действие, произведенное надо мной, и соответственно мое над ним. Но это - реальность, состоящая

В том, что видит в мире, мыслит о нем, касается его, любит или ненавидит, что вдохновляет его или сокрушает, что Я изменяет, что переносит и терпит, - это то, что всегда называется "жить", "наша жизнь", жизнь каждого. Тогда опровергнем высокомерие уважаемых и священных глаголов "существовать", "сосуществовать", сказав вместо них: то первичное, что имеется в Универсуме, это "моя жизнь" в все остальное, что имеется или не имеется в ней, внутри нее. Теперь можно сказать, что вещи, Универсум, сам Бог являются составляющими моей жизни,

поскольку "моя жизнь" - это не только Я, Я - субъект, но жизнь - это еще и мир. Мы преодолели субъективизм трех веко - Я освободилось из заточения в собственной интимности, оно уже не единственное, что имеется, но уже не страдает от одиночества, которым является единственность, о чем мы говорили в прошлый раз. Мы избежали заточения, в котором жили как люди нового времени, заточения сумрачного, без света, света мира и без просторов, которым радуются крылья стремлений и желаний. Мы вне уединенного, обособленного участка Я, закрытой комнаты

больного, полной зеркал, которые
безнадежно возвещают нам наш
собственный профиль, - мы вне ее,
на свежем воздухе, снова вдыхаем
кислород космоса, расправив крылья
для полета, обратив сердце к вещам,
достойным любви. Мир снова стал
горизонтом жизни, который, подобно
линии моря, напрягает кругом нас
свою чудесную тетиву арбалета и
заставляет ваше сердце
почувствовать себя стрелой, сердце,
израненное самим собою, которое
вечно болит от скорби или
наслаждения. Спасемся в мире -
"спасемся в вещах". Это последнее
выражение я написал в качестве

жизненной программы, когда мне было двадцать два, я учился в Мекке идеализма и трепетал в смутном предвкушении сбора плодов грядущей зрелости. Но сначала нам нужно выяснить, в чем своеобразие этого истинного и первичного бытия, представляющего собой "жизнь". Нам не пригодятся понятия и категории традиционной философии - ни одно из них. То, что сейчас перед нами, ново: следовательно, мы должны выразить то, что видим, в новых понятиях. Господа, нам выпало счастье впервые употребить новые понятия. Поэтому в нашем новом положении мы хорошо

представляем себе радость, какую испытывали греки. Они были первыми людьми, открывшими научное мышление, теорию - эту особую изысканную нежность, которую выказывает разум вещам, отливая их в точную идею. У них не было за спиной научного прошлого, у них не было готовых понятий, священных терминов. Перед ними было открытое бытие, а под рукой лишь обычный язык, на котором говорили все, и вскоре какое-нибудь простое обыденное слово чудесным образом согласовывалось с важнейшей реальностью, открывавшейся перед ними. Обычное

слово возносилось, как при помощи левитации, над обиходным уровнем манеры говорить, беседы и благородным образом преображалось в термин, гордась, подобно скакуну, тяжестью высшей идеи, оседлавшей его. Когда открывается новый мир, необходимым словам выпадает лучшая доля. Мы, наследники давнего прошлого, кажется, обречены использовать в науке лишь иерархические, торжественные, застывшие термины, к которым при всем уважении мы потеряли всякое доверие. Какое удовольствие, должно быть, доставляло грекам присутствовать при том, как обычное

слово озарялось сиянием научной идеи. Подумайте о жестком, застывшем, неподвижном, холодном, как металл, для детского уха слове "гипотенуза", услышанном впервые. Но ведь когда-то, на берегу моря в Греции, умные музыканты, не привыкшие быть музыкантами, гениальные музыканты, именовавшиеся пифагорейцами, обнаружили, что у арфы размер самой длинной струны пропорционален размеру самой короткой, так же как звучание первой звучанию второй. Арфа - треугольник, замкнутый струной "самой длинной, самой

протяженной" - ничего более. Кто может сегодня в атом страшном и скучном слове различить простое и милое "самая длинная", напоминающее название вальса Дебюсси: "La plus que lente" - "Более чем долгий".

Итак, мы находимся в подобной ситуации. Мы ищем понятия к категории, которые выразили бы "жизнь" в ее своеобразии, и вынуждены заглядывать в обычный словарь, удивляясь тому, как вдруг какое-то слово, простое искомое слово, ив имеющее ранга, не имеющее научного прошлого, начинает лучиться светом научной

идеи и превращается в термин. Это еще один знак, что судьба благосклонна к нам, и мы первопроходцами вступаем на неизведанный берег.

Слово "жить" приближает нас и пропасти, пропасти без фраз, без трогательных предзнаменований, скрывающих то, что в ней таится. Нужно с отвагой ступить в нее, несмотря на то, что известно - нас ждет погружение в страшные глубины. Есть благодетельные, бездонные пропасти чистого бытия, которые возвращают нас к жизни возрожденными, окрепшими, просвещенными. Есть явления

определяющие, с которыми приходится время от времени сталкиваться именно потому, что они бездонны, именно потому, что мы теряемся в них. Иисус выразил это божественным образом: "Сберегший душу свою потеряет ее; а потерявший душу свою ради Меня сбережет ее". Сейчас, если ваше внимание будет сопутствовать мне, мы на какое-то время погрузимся, подобно ныряльщикам, в собственное наше существование, чтобы затем вынырнуть, как ныряльщик Короманделя, вернувшись из морских глубин с жемчужиной зубов - улыбаясь.

Что таков наша жизнь, моя жизнь?
Было бы наивно и нелепо отвечать на
этот вопрос определениями из
области биология и говорить о
клетках, соматических функциях,
пищеварении, нервной системе и т. д.
Все эти вещи представляют собой
гипотетические реальности,
построенные на прочной основе, но
построенные биологической наукой,
являющейся видом деятельности
моей жизни, если я изучаю ее и
посвящаю себя ее исследованиям.
Моя жизнь - это не процессы,
происходящие в моих клетках, и не
то, что происходит на моих звездах,
золотых точках которые я вижу в

своём ночном мире. Мое собственное тело не больше чем фрагмент мира, который я обнаруживаю в себе, фрагмент, который по многим причинам чрезвычайно важен для меня что не мешает ему быть лишь одним из множества составляющих в раскрытом передо мною мире. Сколько бы я ни говорил о своём физическом и психическом организме, это относится лишь к второстепенным частностям, которые предполагают такое явление, как моя жизнь, в ходе которой я обнаруживаю, вижу, исследую, анализирую вещи-тела и вещи-души. Следовательно, ответы

такого рода даже не соприкасаются с той первичной реальностью, которую мы сейчас собираемся определить.

Ведь что такое жизнь? Не нужно далеко ходить, речь не идет о том чтобы вспоминать приобретенные знания. Основные истины всегда должны быть под рукою, именно поэтому они основные. Что нужно искать, так это истин частные, конкретный, провинциальные, не основные. Жизнь - это то, чем мы являемся, что мы делаем: т. е. она на всех вещей самая близкая для каждого. Положим на нее руку, она даст удержаться себя, как ручная птица.

Если по дороге сюда кто-нибудь спросил вас, куда вы идете, вы должны были ответить: мы идем слушать лекцию по философии. И действительно, вы здесь слушаете меня. Это не имеет никакого значения. Однако это то, что в данный момент составляет вашу жизнь. Мне очень жаль, но истина обязывает меня сказать, что ваша жизнь, ваше сейчас состоит из того, что весьма маловажно. Но будем откровенны и признаем, что наше существование по большей части состоит из такого рода незначительностей: мы идем, приходим, делаем то либо другое,

думаем, любим или не любим и т. п. Время от времени наша жизнь, кажется, внезапно обретает напряжение, как бы становясь на дыбы, сгущаясь, уплотняясь: большое горе призывает нас, - тогда мы говорим, что с нами происходят важные события. Но заметьте, что для нашей жизни это чередование, эта значимость или незначительность неважны, потому что кульминационный, исступленный момент не в большей степени жизнь, чем наши обыденные часы.

Следовательно, получается, что на первый взгляд, которым мы окинули

жизнь в этом предпринятом нами исследовании ее чистой сущности, жизнь - это совокупность действий и событий, которыми, если можно так выразиться, она обставлена.

Наш метод будет состоять в том, чтобы замечать одно за другим свойства нашей жизни в порядке от наиболее внешних к самым внутренним, от периферии Жизни к ее пульсирующему центру.

Следовательно, мы обнаружим ряд последовательных определений жизни, каждое на которых сохраняет и углубляет предшествующие.

И вот первое.

Жизнь - это то, что мы делаем, и то, что с нами происходит, - от мыслей и мечтаний или побуждений до игры на бирже или победного сражения. Но разумеется, ничто из того, что мы делаем, не является нашей жизнью, если мы не отдаем себе в этом отчета. Это первое решающее свойство, с которым мы сталкиваемся: жизнь - это удивительная, уникальная действительность, которая обладает привилегией существовать для самой себя. Жить - это значит ощущать жизнь, осознавать свое существование, где "осознавать" подразумевает не интеллектуальное

знание, не какие-либо специальные познания, а удивительное присутствие жизни для каждого: без этого осознания, без отдавания себе отчета мы не ощутили бы и зубной боли.

Камень не чувствует и не знает, что он камень: для себя самого, как и для всех остальных, он совершенно слеп. Напротив, жизнь - это открытие, не утверждение бытия, а понимание или видение, отдавание себе отчета в том, что является ею. Беспрерывное открытие, -которое мы совершаем относительно себя и окружающего мира. Сейчас давайте дадим объяснение и юридический статус

этому удивительному
притяжательному местоимению,
которое мы употребляем, произнося
"наша жизнь"; она ваша, поскольку,
кроме того, что она есть, мы отдаем
себе отчет, что она есть и какова она.
Воспринимая и чувствуя, мы
вступаем в наши владения, и это
всегдашнее пребывание в
собственных владениях, это
постоянное и коренное присутствие
при всем, что бы мы ни делали и чем
бы мы ни были, отличает жизнь от
всего остального. Горделивые науки,
мудрое знание не более чем
приносят пользу, конкретизируют,
регламентируют это изначальное

проявление, из которого состоит жизнь.

Чтобы найти образ, в котором закреплено воспоминание об этой идее, обратимся к египетской мифологии, где Осирис умирает, а Исида, его возлюбленная, хочет воскресить его и дает ему проглотить глаз сокола-Гора. С тех пор глаз появляется па всех священных картинах египетской цивилизации, символизируя первое свойство жизни: смотреть па себя. И этот глаз, пройдя по всему Средиземноморью, оказав влияние на Восток, стал тем, что во всех остальных религиях изображается как изначальный

атрибут провидения: видеть себя - основной и начальный атрибут самой жизни.

Это видение или ощущение, это присутствие моей жизни передо мной, которое дает мне владение ею, которое делает ее "моей". - это то, чего не хватает сумасшедшему. Жизнь безумного - не его, т. е., строго говоря, не жизнь. Поэтому нет ничего более невыносимого, чем вид умалишенного. Потому что в нем законченно проявляется физиономия жизни, но лишь как маска, скрывающая отсутствие подлинной жизни. Перед умалишенным действительно мы ощущаем себя как

перед маской, маской по самой своей сути. Сумасшедший, не осознавая себя, себе. не принадлежит, он отчужден, и "отчуждение", "принадлежность чужому" - именно так звучали старинные определения безумия, скажем: быть вне себя, быть одержимым, т.е. одержимым кем-то другим. Жить - значит осознавать себя, это ясно.

Хорошо сказано: сначала живи, затем философствуй - это, как вы видите, в строгом смысле начало всякой философии, - да, это хорошо сказано, но надо помнить о том, что жизнь в самих своих истоках и в глубине состоит из знания и понимания себя,

в видении того, что нас окружает, в том, чтобы быть ясным для самого себя. Поэтому, когда мы подходим к вопросу: что такое наша жизнь? - мы можем без раздумий торжественно ответить: жизнь - это то, что мы делаем, разумеется потому, что жить - это осознавать, что мы Мы живем здесь, сейчас, т. е. мы находимся в каком-то месте мира и нам кажется, что мы пришли туда по своей воле. Жизнь в самом деле оставляет поле возможностей внутри мира, но мы не свободны - быть или не быть в этом сегодняшнем мире. Можно отказаться от жизни, но если живешь, нельзя выбрать для этого

мир. Это придает жизни трагичность. Жить - это не выбирать по вкусу предварительно понравившееся место, как выбирают, в какой театр пойти вечером, - это значит оказаться, вдруг и не иная как, ввергнутым, попавшим, заброшенным в мир, который невозможно поменять, - в мир сегодняшний. Наша жизнь начинается постоянным удивлением по поводу нашею существования - без нашего предварительного согласия, в непредсказуемом мире, подобно потерпевшим кораблекрушение. Не мы сами даем себе жизнь, но обнаруживаем ее как

раз тогда, когда обнаруживаем сами себя. Подобное же происходит, если некто спящим перенесен за кулисы театра и, разбуженный внезапным толчком, выпущен на сцену перед публикой. Оказавшись там, что обнаруживает этот персонаж? Ведь он в сложном положении, не зная, ни зачем, ни как оказался на сцене; сложность в том, что нужно разрешить каким-нибудь достойным образом эту демонстрацию себя публике, чего он не добивался, не предвидел, к чему не был готов. В основных чертах жизнь всегда непредвиденна. Нас не предупреждают перед появлением в

ней - за ее сцене, всегда определенной и конкретной, - мы не бываем подготовлены.

Этот внезапный, непредсказуемый характер и составляет сущность жизни. Совсем другое дело, если бы мы могли подготовиться к ней, прежде чем войдем в нее. Как говорил Данте: "Стрела, которую ждешь, летит медленнее". Но жизнь в целом и в каждый момент похожа на выстрел в упор.

Мне кажется, этот образ довольно точно передает сущность жизни. Жизнь дана нам, лучше сказать, брошена вам, или мы брошены в нее

на то, что дано нам; жизнь - это проблема, которую должны решать мы. И не только в особо трудных случаях, которые мы определяем как конфликты или трудные ситуации, а всегда. Если вы пришли сюда, значит решились на то, чтобы: прожить этот отрезок жизни таким образом.

Другими словами: мы живем, поддерживая себя на весу, влача тяжесть жизни по перекресткам мира. Тем самым мы не предрешаем, печально или весело наше существование: каково бы оно ни было, оно устанавливается тем, что мы вынуждены непрерывно решать его проблему.

Если бы пуля, выпущенная из ружья, обладала душой, она ощущала бы, что ее траектория точно предопределена наводкой и действием пороха, а если ее траекторию мы назовем жизнью, то пуля окажется просто созерцателем, без какого бы то ни было вмешательства в жизнь: ведь пуля не выстреливает себя сама и не выбирает цели. Но именно потому такой способ существования нельзя назвать жизнью. Жизнь никогда нельзя предопределить. Даже будучи совершенно уверены в том, что произойдет с нами завтра, мы всегда рассматриваем это как возможность. Это другой сущностный и

драматический атрибут, который нужно поставить рядом с предыдущим. В каждый момент жизнь представляет собой проблему, большую или малую, которую нам следует решить, не оставляя решение Другому, я хочу сказать,. что она никогда не бывает разрешенной проблемой, а в каждый момент мы чувствуем себя вынужденными выбирать из многих возможностей. [Хотя нам не дано выбирать мир, в котором должна протекать наша жизнь, - такова доля ее фатальности, во мы обнаруживаем некое поле с жизненным горизонтом возможностей - такова доля ее

свободы, следовательно, жизнь - это свобода внутри фатальности и фатальность внутри свободы.] Разве это не удивительно? Мы ввергнуты в нашу жизнь, и в то же время то, во что мы ввергнуты, мы должны сделать отдавая себе в этом отчет, говоря об этом, создавая это. Или по-другому: наша жизнь - это наше бытие. Мы только оно и больше ничего, - по это бытие не predetermined, не predetermined заранее, а мы должны определить его сами, мы должны решить, что мы будем: например, что мы станем делать, выйдя отсюда. Это я называю "поддерживать себя на весу,

поддерживать собственное бытие". Нет ни отдыха, ни передышки, поскольку сон, являющийся одной из форм жизни биологической, не существует для жизни в основном смысле, в котором мы употребляем это слово. Во сне мы не живем, но, проснувшись и вернувшись к жизни, видим, что она обогатилась летучим воспоминанием о сновидении.

Простые и устоявшиеся метафоры не менее истинны, чем законы Ньютона. В этих почтенных метафорах, превратившихся в слова, по которым мы ходим все время, как по коралловому острову, повторяю, в этих метафорах заключена

совершенная интуиция самых фундаментальных явлений. Так, мы часто говорим, что страдаем от "тяжести", что находимся в "тяжелой" ситуации. Тяжесть метафорически перенесена от физического объекта, когда на нас что-то висит и давит нас, на внутреннее состояние. И на самом деле, жизнь отягощает всегда, поскольку жить - это поддерживать самого себя, выносить себя и направлять себя. Ничто так не притупляет ощущения, как привычка, и, как правило, мы забываем об этой постоянной тяжести, которую мы тащим и которой мы являемся, - но

когда случается что-то необычное, мы вновь чувствуем тяжесть. В то время как светило притягивает другое тело и не ощущает своей тяжести, живущий в мире является одновременно и тяжестью, и рукою, которая ее поддерживает. Подобным же образом "облегчение" восходит к "легче", т. е. к утрате тяжести. Отягощенный заботами человек идет в таверну искать облегчения - сбрасывает балласт, и воздушный шар его жизни весело поднимается.

Таким образом, мы заметно продвинулись в нашей вертикальной экскурсии, в этом спуске в глубинную суть нашей жизни.

Из глубин, где мы сейчас находимся, нам видна жизнь как необходимость решать то, чем мы станем. Мы уже не довольствуемся фразой: жизнь -это то, что мы делаем, это в итоге обнаруживать себя самого в мире, занятого вещами и существами мира.

Эти простые слова: "обнаруживать", "мир", "заниматься" - теперь термины нашей новой философии. Можно долго говорить о каждом из них, но я ограничусь определением: "жить - это находиться в мире", которое, как все основные идеи этих лекций, уже есть в моей опубликованной работе. Мне важно

отметить это относительно Идеи существования, я провозглашаю ее приоритет. По той же причине мне приятно признать, что самый глубокий анализ жизни принадлежит новому немецкому философу Мартину Хайдеггеру.]

Здесь необходимо напрячь зрение, поскольку мы приближаемся к опасным берегам.

Жить - это находиться в мире... Хайдеггер в своей только что вышедшей гениальной книге дает вам возможность заметить все огромное значение этих слов... Речь не идет главным образом о том, что

наше тело находится среди других вещей-тел и все это внутри огромного тела, или пространства, которое мы называем миром. Если бы существовали только тела, жизнь не могла бы существовать; одни тела вращались бы вокруг других, всегда одни вдалеке от других, как бильярдные шары или атомы, не зная и не будучи значимыми одни для других. Мир, в котором мы, живя, находимся, состоит из вещей приятных и неприятных, жестоких и благоприятных, угрожающих и отрадных: важно не то, являются ли вещи телами, а то, что они впечатляют нас, нас интересуют,

радуют нас, пугают или заставляют нас страдать. Первоначально то, что мы называем телом, это нечто, оказывающее нам сопротивление или препятствующее нам, или поддерживающее и несущее нас, - стало быть, нечто враждебное или благоприятное. Мир - это *sensu stricto* то, что нас интересует. И жить - это каждому находиться среди вопросов и проблем, которые его интересуют. То есть, не зная как, жизнь оказывается для себя самой тем, что открывает мир, Нельзя жить, если не находишься в мире, наполненном другими вещами, будь то предметы или существа; это значит видеть

вещи и события, любить или ненавидеть их, желать или бояться. Жить - это быть занятым другим, что не является самим тобой, жить означает сосуществовать с окружающим.

Наша жизнь в соответствии с этим не только наша личность, а в такой форме часть нашего мира: она - наша жизнь - состоит в том, что личность занимается вещами или с вещами, и очевидно, что наша жизнь будет зависеть как от того, какова наша личность, так и от того, каков наш мир. [Поэтому мы можем представить "нашу жизнь" как дугу, соединяющую мир и Я; но не сначала

Я, потом мир, а одновременно оба.)
Эти два термина близки нам в
одинаковой степени: мы осознаем не
сначала себя, а затем мир; а жить, по
сути своей, это находиться перед
миром, с миром, внутри мира, быть
погруженным в его движение, в его
проблемы, в его рискованные
интриги. Но также и наоборот: этот
мир, состоящий лишь из того, что
интересует каждого, неотделим от
нас. Мы рождаемся вместе с ним, и в
жизни личность и мир подобны
божествам Древней Греции и Рима,
которые рождаются и живут рядом:
например, Диоскуры, - пары богов,

которые обычно именовались *dii consentes*, боги единомышленные.

Из глубин, где мы сейчас находимся, нам видна жизнь как необходимость решать то, чем мы станем. Мы уже не довольствуемся, как вначале, фразой: жизнь - это то, что мы делаем, это совокупность наших занятий и находящихся в мире вещей, - потому что мы заметили, что все эти занятия происходят не автоматически, механически, наподобие проигрывания заранее- отобранных граммофонных пластинок, но мы выбираем их сами. Эта определенность идет от жизни;

исполнение же по большей части происходит механически.

Огромной важности явление, с которым я хочу вас ознакомить, уже было нами определено: жить - это постоянно решать, чем мы будем. Вы чувствуете парадокс, скрытый в этом определении? Бытие, которое состоит не столько в том, что есть, сколько в том, что будет, стало быть, в том, чего еще нет¹ Ведь это основной, нескончаемый парадокс нашей жизни. Я не виноват, это чистая правда.

Но возможно, некоторые из вас сейчас думают: "С каких пор жить -

значит решать, чем быть. Вот уже сколько времени мы сидим здесь, ничего не решая, и тем не менее несомненно живем!" На это я ответил бы: "Господа, за это время вы не делаете ничего другого, как только решаете, чем быть. Речь идет не о кульминационных моментах вашей жизни, а о моментах ее, проведенных относительно пассивно, так как вы являетесь слушателями. И однако все полностью совпадает с данным мною определением. Вот доказательства: во время лекции некоторые из вас колеблются между тем, чтобы ослабить внимание и

погрузиться в собственные проблемы или великодушно внимать тому, что я говорю. Вы решаете быть либо внимательными, либо рассеянными, думать о том или о другом, и это размышление о жизни или о чем-то другом, как раз и есть сейчас ваша жизнь. То же самое не в меньшей степени относится к тем, кто не колебался, кто все время пребывал в решимости выслушать меня до конца. Минуту за минутой они следовали этому решению, чтобы оно не исчезло, стараясь оставаться внимательными. Наши решения, даже самые твердые, нуждаются в постоянном подкреплении, чтобы

быть всегда готовыми, как взведенное- ружье, они должны перерешаться. Вы входили в эту дверь, решив, кем будете: слушателями, - но затем не однажды возобновляли ваше решение - другими словами, вы понемногу ускользали из жестких рук оратора".

И сейчас я кончаю извлечением непосредственных выводов из всего этого: если ваша жизнь состоит в том, чтобы решать, что мы будем, хочется сказать, что в самих корнях нашей жизни кроется временной признак: решать, что мы будем, - стало быть, речь идет о будущем. И немедленно мы снимаем один за

другим все щедрые плоды вашего исследования. Во-первых: наша жизнь - это прежде всего столкновение с будущим. Это другой парадокс. Главное, в чем мы живем, - не прошлое и не настоящее; жизнь - это деятельность, устремленная вперед, а прошлое и настоящее раскрываются потом, в связи с этим будущим. Жизнь - это будущее, то, чего еще нет.

Лекция XI

[Основная реальность жизни. - Категории жизни. - Теоретическая жизнь. - Окружение: фатальность и

свобода. - Внутренняя модель:
беспокойство и не-беспокойство.]

Я много раз говорил, что мы бываем
вынуждены преодолевать границы
античности и нового времени, и
всегда добавлял, что мы
преодолеваем их лишь тем, что
сохраняем. Дух по самой своей сути
одновременно и самое жестокое, и
самое нежное и щедрое. Дух, чтобы
жить, должен уничтожить свое
прошлое, отречься от него, но не
может совершить это без того, чтобы
в то же время не воскрешать того,
что убивает, сохранять его живым
внутри себя. Если убить его навсегда,
нельзя будет далее отрицать его и,

отрицая, преодолевать. Если бы наше мышление не прониклось бы мышлением Декарта, а мышление Декарта не было бы проникнуто мышлением Аристотеля, наше мышление было бы примитивным, - мы должны были бы начинать заново, а не быть наследниками. Превзойти - это наследовать и внести свое. Когда я говорю, что нам необходимы новые идеи, я имею в виду то, что мы должны привнести свое, - прежние идеи продолжают жить, но отходят на второй план. Если мы найдем новый, более фундаментальный способ бытия, ясно, что мы будем нуждаться в

понятии бытия, неизвестном ранее, но в то же время наше новейшее понятие должно будет содержать в себе старые, сохраняя долю истины, соответствующую им. Так, уже не раз приходилось намекать - времени было только на то, чтобы намекнуть, - как античная идея космического бытия, субстанциального бытия, послужила для реальности, в которой еще не было открыто самое изначальное явление - сознание, а затем показала, насколько субъективное бытие было бы ценной идеей, если бы не существовала реальность, предваряющая сам субъект, которым является жизнь.

Итак, античность и новое время совпадают в попытке познать, называя это философией. Универсум, или то, что имеется. Но, сделав первый шаг в поисках начальной истины Универсума, они начинают расходиться, поскольку античный ученый отправляется на поиски первичной реальности, понимая, разумеется, под первичной самую важную реальность в структуре Универсума. Если он теист, он говорит, что седину важная реальность, объясняющая все остальные, это Бог, если он материалист, то говорит, что это материя, если пантеист, то говорит,

что это безразличная сущность,
одновременно материя и Бог. Но
ученый нового времени
приостанавливает и вступает в спор,
возражая: возможно, что
действительно существует та или
иная реальность, важнейшая в
Универсуме, но после того, что мы
уже показали, мы не сможем
продвинуться ни на шаг, поскольку
вы забыли задать вопрос, существует
ли несомненно эта реальность,
объясняющая все остальные, более
того, существуют ли несомненно
менее важные реальности,
объясняемые через нее. Первый
вопрос философии - не расследовать,

какая из реальностей самая главная, но какая реальность Универсума самая несомненная, самая надежная, - хотя бы, к примеру, наименее важная, самая скромная и незначительная. В общем, первый вопрос философии состоит в том, чтобы определить, что нам дано в Универсуме - вопрос исходных данных. Античность никогда не ставила формально эту проблему; поэтому, каковы бы ни были ее достижения в разрешении других проблем, в этом пункте она ниже по уровню, чем новое время. Мы располагаемся на этом уровне, и единственное, что делаем, это

дискутируем с учеными нового времени об исходной и несомненной реальности. Мы обнаруживаем, что это не сознание, не субъект, а жизнь, включающая в себя, кроме субъекта, мир. Таким образом, мы избегаем: идеализма и выходим на новый уровень.

Но заметьте, что все это мы проделываем, не оставляя первого вопроса философии, что мы движемся исключительно в плане того, что дано нам из того, что имеется. Если мы сочтем, что это данное - наша жизнь, которая в Универсуме дается каждому своя, то здесь не будет никакого иного

мнения, кроме как: из того, что нам дано, не имеется или не дано других реальностей, гораздо более важных. Вопрос данного или несомненного - это не философия, а лишь подступы к ней, ее вводная глава. Мне хочется напомнить, что я говорил об этом на первых же лекциях.

Но я не знаю, все ли поняли следствие этого, простейшее следствие, настолько простое, что, строго говоря, я не должен был бы и говорить о нем, но думаю, что сказать следует. Вот оно: если нам известно, что единственная несомненная реальность существует - какова бы она ни была, мы

определили ее, - все остальное, о чем мы говорим, никогда не сможет противоречить свойствам, составляющим с полной очевидностью эту исходную реальность. Поскольку все остальные вещи, о которых мы говорим, отличные от этой первичной, сомнительны и вторичны и не обладают большей стабильностью, чем та, что они получили, основываясь на несомненной реальности. Так, например, представьте себе, что некто, исходя из принципа нового времени, утверждает: единственное несомненное - это существование

мышления; таким образом, он оказывается на уровне нового времени. Но затем он добавляет: ясно, что, кроме этого, имеется материя, физическая материя, состоящая из атомов, которыми управляют определенные законы. Кроме этого имеется - совершенный абсурд, ведь тот, кто говорит, полагает, что физика обладает той же силой, что и принцип субъективизма. Этот принцип гласит: действительно несомненное нематериально в им не управляют законы физики, науки, которая занимается вторичными квазиреальностями, подобно всякой частной науке. Что не отрицает

истинности физических законов, но ограничивает ее силу феноменами второго порядка, к которым они принадлежат, феноменами, которые не претендуют на то, чтобы быть исходными. Физик-идеалист, т. е. физик нового времени, подобно идеалисту-философу, должен объяснить, как, не имея реальности, более несомненной, чем нематериальная, мышление, можно осмысленно и истинно говорить о вещах материальных, о физических законах- и т. д., но чего нельзя сделать, не потеряв свой уровень, это позволить физике оказывать. воздействие на определение

несомненной реальности. То, что мы говорим о ней - неприкосновенно, нерушимо для всего того, что, основываясь на ней же, мы добавляем потом. То, что я излагаю, просто и не требует пояснений.

Новое явление, или исходная реальность, это "наша жизнь", жизнь каждого. Любое намерение говорить о другой реальности как о более несомненной и первичной, чем эта, невозможно. И не мышление предшествует жизни, поскольку мышление по отношению к самому себе оказывается частью моей жизни, ее отдельным актом. То, что я ищу эту несомненную реальность, не

отдельное, взятое само по себе
действие, я ищу ев, потому что живу,
в настоящее время занимаясь
философией, и это первый акт
философствования;
философствование, в свою очередь,
частная форма жизни, которая
предполагает саму жизнь - если
допустить, что я занимаюсь
философией, потому что этому
предшествовало нечто, поскольку я
хочу знать, что таков Универсум, и
сама эта любознательность
существует благодаря тому, что я
ощущаю ее как стремление моей
жизни, испытывающей не покой по
отношению к самой себе, возможно,

в себе самой и затерянной. В общем, какую бы реальность мы ни захотели счесть первичной, мы убеждаемся, что она предполагает существование нашей жизни, а то, что мы предполагаем эту реальность, представляет собой жизненный акт, "жизнь".

Какой бы удивительной ни была эта случайность, но единственно несомненной реальностью является именно "жизнь", а непростое "cogito" идеализма - что в свое время было столь удивительно, - в не форма Аристотеля или идея Платона, когда-то' казавшиеся парадоксом. Но что поделаешь. Это так.

Но если так, нет другого средства, как только установить свойства этой новой исходной реальности - и кроме того, нет другого средства, как только принять их, хотя они малоприятны для ваших теорий, существовавших ранее, для всех наук, которым мы следуем, тем не менее выясняя, насколько они истинны по своей сути. Затем - в философской системе - мы должны были бы показать, как, основываясь на реальности "нашей жизни", имеются, кроме того, не противореча сути нашей идеи жизни, органические тела и законы физики и морали, включая теологию. Ведь не утверждается же, что, кроме этой

несомненной "нашей жизни", которая дана нам, не существует, возможно, "иная жизнь". Правда, эта "иная жизнь" в науке проблематична - подобно реальности органической и реальности физической, - и напротив, эта "ваша жизнь", жизнь каждого не проблематична, а несомненна.

В последний раз мы наскоро - времени не было - пробовали дать определение жизни. Возможно, вы чувствуете себя сбитыми с толку, поскольку то, что мы говорили, было банальностью. Но это означает быть очевидным, а мы подчиняемся очевидностям. Жизнь не тайна, а

совсем наоборот: это очевидность, самая большая существующая очевидность, и из-за ее чистого бытия собой, из-за ее прозрачности нам трудно ее заметить. Наш взгляд проходит дальше, к проблематичным знаниям, и нам трудно задержать его на этих ближайших очевидностях.

Так, очевидно, что жить означает, что я оказываюсь в мире. Если я оказался бы лишь сам с собой, я существовал бы, но это существование было бы не жизнью, а исключительно субъективным существованием идеализма. Но здесь ложно то, что я мог бы оказаться лишь сам с собой, поскольку, открыв свое "Я", себя

самого, я обнаруживаю, что это некто, занимающийся с тем, что не он сам, с другими некто, которые, кроме того, предстают передо мной объединенными и как бы между собой связанными контуром окружающего единства, мира, в котором нахожусь я - не пассивный или инертный, а угнетенный этим миром или в восторге от него. Ведь мир - это то, что находится передо мной, вокруг меня, когда я нахожу себя, то, что существует для меня и очевидно на меня воздействует. Мир - это не природа, Космос античности, который представлял собой существующую в себе

реальность, от которой субъекту был известен лишь тот или иной фрагмент, но тайна ее сохранялась. Мир жизни не имеет от меня никаких тайн, поскольку состоит исключительно из того, на что я обращаю внимание, и именно таков, каким я его вижу. В моей жизни участвует лишь то, что в ней присутствует. Таким образом, мир в целом - это живущее. Предположим, что мой мир состоит из чистых тайн, вещей тайных, загадочных, подобно миру некоторых американских кинолент. Итак, то, что составляет тайны, загадки, становится для меня присутствующим, очевидным,

прозрачным и воздействует на меня как некая тайна и некая загадка; и я должен сказать: мир, в котором я живу, это несомненная и очевидная тайна, мне ясна его сущность, состоящая в таинственности, - и это будет все равно, что сказать: мир синий или желтый

Первым свойством этой исходной реальности, которую мы зовем "нашей жизнью", является ее существование самой по себе, стремление отдать себе отчет, прозрачность для самой себя. Только поэтому несомненна и она и то, что образует часть ее, - и только потому,

что лишь она несомненна, она и есть исходная реальность.

"Оказываться", "отдавать себе отчет", "быть прозрачным" - это первая категория, конституирующая жизнь. Некоторые из вас не знают, что значит категория. Не смущайтесь. Категория - простейшая вещь в философской науке. Пусть вас не смущает, что вы не знаете простейшей вещи. Ведь мы не внаем простейших вещей, которыми битком набит ближний. Никогда не стыдно не знать чего-либо - вворотив, это естественно. Стыдно не хотеть узнать, отказываться выяснить что-то, когда предоставляется случай. Но

от этого никогда не отказывается незнающий, а, наоборот, тот, кто полагает, что знает. Вот это стыдно: полагать, что знаешь. Тот, кто полагает, что знает что-либо, но на самом деле не знает, своим предполагаемым знанием закрывает путь в своем разуме, по которому могла бы проникнуть подлинная истина. Грубое понятие, имеющееся у него, высокомерное или неотесанное, действует подобно сторожу-термиту в термитниках - жилищах насекомых, напоминающих муравьев, - сторожу с огромной, глянцевой, твердой головой, который при надобности затыкает ею входное

отверстие, закупоривая лаз
собственным лбом, чтобы никто не
мог войти. Подобным же образом
тот, кто полагает, что знает,
закрывает собственным ложным
понятием, своей головой то
отверстие в разуме, сквозь которое
проникло бы действительное знание.
Тот, кто ведет в Испании и за ее
пределами интеллектуальную жизнь,
непроизвольно сравнивает ее
особенности, и сравнение наставляет
убедиться в том, что закрытость
разума - постоянное и характерное
свойство испанцев. И не случайно,
если испанец в интеллектуальном
отношении мало проницаем, то это

потому, что он также закрыт в
областях души гораздо крепче, чем в
области разума. Но что даже
тяжелее, чем эта малая
проницаемость испанца, так это
недостаточная проницаемость души
испанки. Я произнес жестокие слова
- но не второпях и не наугад. Этим я
объявляю дискуссию на тему образа
жизни испанской женщины,
дискуссию, которая начнется, как
только будут сказаны эти слова. Это
будет дискуссия, лишенная лести и
очень болезненная для меня. Я
никогда не был похож на
распространенный персонаж, о
котором постоянно говорят, что он

верит в обязанности того-или
другого. Я за всю свою жизнь редко
верил в обязанности. Я прожил ее и
продолжаю жить под воздействием
иллюзий, а не обязанностей. Более
того: этика, курс которой я,
возможно, изложу вам, отличается от
всех традиционных тем, что
основной идеей в ней считается не
мораль, а иллюзия. Долг - вещь
важная, во вторичная - это замена,
Ersatz иллюзии. Ясно, что мы делаем
хотя бы по обязанности то, чего не
можем заставить себя делать ради
иллюзии. Стало быть, эта кампания
по теме "испанская женщина"
достаточно сурова, чтобы быть

иллюзией; напротив, она будет жертвоприношением; и я думал, что должен вести ее в течение долгих, долгих лет. Я полагаю, что из всех вещей, которые в нашей испанской жизни требуют радикальной перемены, возможно, ни одна так не нуждается в ней, как душа женщины. И для того, кто полагает, как и я, что женщина оказывает сказочное - большее, чем предполагают и чем подозревают, - и постоянное, неотразимое и тонкое влияние на историю, очевидно, что немало больших и постоянных дефектов испанского бытия, происхождение которых ищут в самых непонятных

причинах, идут просто от недостаточной женственности испанок. Такие высказывания - неблагодарный и опасный труд, и я чувствую, что обязан взять его на себя, даже предвидя довольно неприятные последствия этого решения. Как видите, и в этом пункте я в корне расхожусь с официальным мнением. Я не очень вежлив, но с вежливостью надо кончать, преодолеть ее, так же, как новое время и идеализм, создававшие для нее атмосферу - нужно, чтобы восхищение обратилось на женщин более энергичных, сложных, пламенных. Сейчас ничто не

покажется более неуместным, чем изысканный поклон, с которым доблестный кавалер 1890-х годов приближался к даме, чтобы сказать ей галантную фразу, витиеватую, как стружка. Девушки уже отвыкли от подобного обхождения, и такой жест, который тридцать лет назад казался воплощением мужественности, сегодня расценили бы как женственный.

Но вернемся к нашему случаю - что такое категории. Речь шла о том, что некоторые из вас не имеют и не имели ясного представления о том, что такое категория. Это не имеет значения, поскольку понятие

категории одно из самых простых в мире. Конь и звезда различны во многих элементах, в большинстве своих компонентов. Но насколько бы сильно они ни разнились, у них есть нечто общее: о том и о другом мы говорим, что это вещи-тела.

Действительно, конь и звезда представляют собой нечто реальное и, кроме того, занимают пространство, существуют во времени, подвержены таким изменениям, как движение, и, в свою очередь, производят изменения в других вещах при столкновении с ними, обладают каждый своим цветом, формой, плотностью -

другими словами, качествами. Таким образом, за их бесчисленными различиями мы обнаруживаем, что они совпадают в минимуме элементов и свойств: быть реальными, занимать пространство и длиться во времени, обладать качествами, подвергаться воздействию и воздействовать. Подобно им все, что стремится быть вещью-телом, неизбежно будет обладать этой минимальной суммой свойств, или особенностей, этой сущностной основой телесного существа. Вот это и есть аристотелевские категории. Свойства, которые любое реальное

бытие, будучи таковым, несет в себе и непременно обладает ими - прежде и отдельно от остальных различающихся элементов.

Насколько бы наша реальность, "жизнь" ни отличалась от античной космической реальности, она будет составлена суммой категорий, или компонентов, одновременно необходимых, оригинальных, нераздельных меж собой. Эти категории "нашей жизни" мы ищем. Наша жизнь, стало быть жизнь каждого, отлична от моей и твоей, но обе - "моя жизнь", и в обеих ряд общих ингредиентов - категории "моей жизни". Однако в этом

отношении имеется коренное различие между "моей жизнью" и реальностью "бытия", используемой философией. "Бытие" - это нечто общее, что само по себе не претендует на индивидуальные черты. Аристотелевские категории - это категории бытия вообще. Но "моя жизнь" в приложении к моему случаю или случаю каждого из вас, это идея, которая, разумеется, предполагает индивидуальность, из чего следует, что мы обнаружили редчайшую идею, "общую" в то же время "индивидуальную". Логике до сих пор не было известно понятие, казалось бы столь противоречивое.

Сам Гегель, который хотел найти нечто подобное, не достиг этого: его "универсальная конкретность" в конечном итоге универсальна, но не истинно, изначально конкретна, не индивидуальна. Но сейчас мы не можем даже пытаться вникнуть в эту тему. Пройдем мимо, не затронув ее.

Оказывается, "отдавать себе отчет", "быть прозрачным" - это первая категория нашей жизни, в еще раз прошу не забывать, что здесь "сам себе" - это не только субъект, но также и мир. Я отдаю себе отчет о себе в мире, о себе к миру - это и есть "жить".

Но это "оказываться" означает, разумеется, оказываться занятым чем-нибудь в мире. Я состою на моих занятиях тем, что имеется в мире, а мир состоит из того, что меня занимает, и только. Заниматься - значит делать то или другое, - например, мыслить. Мыслить - значит создавать, например, истины, создавать философию. Заниматься - значит создавать философию, или делать революцию, или свертывать сигарету, или дознаться или творить эпоху. Это то, что в моей жизни есть я. Что касается вещей - каковы они? Что существует в той изначальной перспективе и первичном способе

бытия, при котором они живут для меня? Меня - совершающего действия - думающего, бегущего,двигающегося или ожидающего. И что такое сделано? Любопытно! Сделанное - это тоже моя жизнь. Когда я занимаюсь тем, что жду, явление - это ожидание, когда я сворачиваю сигарету - явление не именно сигарета, а мое свертывание ее, сигарета сама по себе, вне моей деятельности, не обладает первичным бытием - это заблуждение античности. Первичное бытие - это то, что я делаю руками, начиная свертывать ее, и когда я заканчиваю это действие, она

перестанет быть предметом свертывания, становится Другим предметом - который следует зажечь и потом -курить. Ее истинное бытие заводится к тому, что она представляет собой как предмет моих занятия. Она не сама по себе - продолжающая существовать, помимо моей жизни, моих действий по отношению к ней. Ее бытие функционально, ее функция в моей жизни такова: это бытие для - для того, чтобы я делал с ней то или другое. Тем не менее, подобно традиционной философии" я говорю о бытии вещей как о том, чем ни обладают сами по себе, и помимо

того, как я манипулирую ими или они служат мне в жизни - я употребляю понятие "бытие" в устоявшемся смысле; а из этого действительно следует, что, когда я перед какой-либо вещью абстрагируюсь от ее первичного бытия, т. е. ее бытия служебного, обиходного и испытанного, и обнаруживаю, что вещь не исчезает, когда я не занимаюсь ей, а остается где-то вне моей жизни, возможно в ожидании, что в другой раз сможет мне зачем-то пригодиться.

Прекрасно; но тогда это бытие в себе, а не для моей жизни возникает вследствие того, что я абстрагирую

его от моей жизни, и абстрагирование тоже дело- и занятие - занятие, состоящее в том, чтобы не жить существованием этой и другой вещи, в том, чтобы полагать ее отдельно от меня. Стало быть, это бытие вещей для себя, их космическое и продолжающее существовать бытие тоже является бытием для меня, это то, чем они являются, когда я перестаю жить ими, когда а делаю вид, что не живу ими. Эта изображаемая ситуация, которую я бы не назвал ни неистинной, ни ложной, а лишь виртуальной, в которой предполагается, что я не существую

и, стало быть, не вижу вещи как существующие для меня и спрашиваю себя, каковы они будут тогда, - эта ситуация виртуального пребывания вне себя, или не жизни, представляет собой ситуацию теоретическую. Знаете ли вы, что, признавая правоту-Фихте и продолжая теоретизировать, философствовать, значит собственно говоря, не жить - именно потому что это форма жизни - теоретическая жизнь, созерцательная жизнь. Теория и ее крайняя форма - философия - это исследование того, как жизнь может выйти за пределы самой себя, не заниматься собой, не

интересоваться вещами. Но не интересоваться вещами - это не пассивное состояние, это форма проявления интереса: т. е.

интересоваться вещью, отсекая нити жизненного интереса, которые связывают ее со мной, спасая ее от погружения в мою жизнь, оставляя ее одну, в чистой отсылке к самой себе, ища в ней ее саму. Ведь не интересоваться вещами - это интересоваться самостью каждой вещи, наделять ее независимостью, существованием, можно сказать, индивидуальностью - начать смотреть на нее, исходя из нее самой, а не из меня. Созерцание - это

попытка перевоплощения. Но это - поиск в чем-то того, что в деле содержится абсолютно своего собственного и отсекаание всякого моего пристрастного интереса к нему, отказ от его употребления, не желание, чтобы оно мне служило, а мое незаинтересованное служение ему, чтобы оно видело себя, обнаружило себя и оказалось самым собой и для себя - это, это... не любовь ли .это? Значит, созерцание в своих истоках - это акт любви, если предположить, что любить в отличие от желать - это попытка жить, исходя из другого, ради него выходя за пределы себя. Древний

божественный Платон, которого мы отрицаем, продолжает щедро жить в нашем отрицании, наполняя его, вдохновляя его, придавая ему аромат. Так, мы обнаруживаем в совершенно новой, другой форме его идею об эротическом происхождении познания.

Я коснулся этого бегло, не поясняя, не анализируя тщательно каждое из употреблявшихся выражений, для того чтобы вы и краткой и грубой схеме угадали, куда клонится традиционный смысл бытия в этой новой философии и заодно чтобы вы предположили, каков был бы наш путь, если бы нам хватало времени.

На вопрос: что такое философия? - мы могли бы дать самый радикальный ответ, что ее не было до сего дня. Потому что на предыдущих лекциях мы определяли, что такое философская теория, и пришли к тому, что обнаружили в ней жизнь, - но сейчас мы действительно должны ответить на наш вопрос. Потому что философская теория, которая есть или может быть в книгах, это лишь абстракция подлинной реальности философии, лишь ее осадок, ее полумертвое тело. Подобно тому как конкретная, а не абстрактная реальность сигареты есть нечто, что создает, сворачивая ее, курильщик,

бытие философии есть то, что
создает философ, есть
философствование и форма жизни.
И это то, что я собирался
тщательнейшим образом исследовать
на ваших глазах. Что же такое
философия как брав жизни? Мы уже
видели, что это значат выходить за
пределы себя - ради того, что
имеется, или Универсума, - создавать
из себя место, пространство, где
Универсум узнает и придерживает
себя. Но бесполезно хотеть без
длительного анализа придать этим
словам их точный содержательный
смысл. Достаточно вспомнить, что
греки, хотя и не имели собственно

философских книг, но, задавая себе - как Платон - вопрос: что такое философия? - думали о человеке, о философе, о жизни. [ля них философствовать было прежде всего строго говоря, первые философские книги - не только по теме, и в формальном отношении - были жизнеописаниями семи целителей, биографиями. То, что не определяет философию как философствование и философствование как особый тип жизни, существенно и не изначально.

Но сейчас мне хотелось бы прежде чем делать выводы, дать. несколько более законченное определение "нашей жизни". Мы видели, что это

значит быть занятым тем или другим, делать. Но во делание означает занятие чем-то для чего-то. Занятие, которое мы сейчас поглощены, коренится в этом "для", которое обычно называет цель. Этому "для", учитывая которое я сейчас действую и в атом действии живу и существую" я посвятил себя, потому что среди открывавшихся передо мной возможностей я счел его лучшим занятием моей жизни. Каждое из этих слов - категория, и поэтому их можно анализировать бесконечно. В соответствии с этими следует, что моя теперешняя жизнь которую я осуществляю, или то, что

я делаю в действительности, я
предрешил, т. р. что моя жизнь,
прежде чем быть. просто действием,
является решением действовать -
решением моей жизни. Наша жизнь
решается сама по себе, она
предрешается. Она не дана нам
готовой - наподобие траектории
пули, о которой я упоминал в
прошлый раз. Но она состоит в
решении себя, потому что жить - это
находиться не в непроницаемом, (в
богатом возможностями мире. Мир
жизни состоит для меня) каждый
момент из возможности делать то
или другое, а не из необходимости
против желания заниматься чем-то

одним и именно этим одним. С другой стороны, эти возможности не безграничны - в таком случае это не конкретные возможности, а чистая недетерминированность, а в мире абсолютной недетерминированности, в котором все одинаково возможно, нельзя решиться ни на что. Для того чтобы было возможно решение, нужно одновременно дать свободу и границы, относительную детерминацию. Это выражается категорией "обстоятельства". Жизнь всегда оказывается в определенных обстоятельствах, в расположении кругом нее - *circum* - вещей и лиц.

Жизнь проходит не в пустом мире,
мир жизни конститутивно
представляет собою обстоятельства,
этот мир здесь, сейчас. И
обстоятельство является чем-то
детерминированным, закрытым, но>
в то же время открытым и
обладающим внутренней свободой,
пространством или подтверждением
направления движения, принятого
решения: обстоятельство - это русло,
которое прокладывает жизнь в
неподатливой почве. Жить - значит
жить здесь, сейчас - здесь и сейчас
непреклонны, неизменяемы, но
широки. Всякая жизнь решает, сама
себя выбирая среди многих

возможных. 'Aatra inclinant, non trahunt
- звезды склоняют, но не велят.

Жизнь в одно и то же время
фатальность и свобода, свободно"
бытие внутри данной фатальности.
Эта фатальность предлагает нам
определенный, неизменяемый набор
возможностей, т. е. предлагает нам
различные судьбы. Мы принимаем
фатальность и в ней решаемся на
судьбу. Жизнь - это судьба. Я
надеюсь, что никто из слушающих
меня не сочтет необходимым
доказывать мне, что детерминизм
отрицает свободу. Если же, хотя л в
это не верю, вы станете говорить это
мае, я отвечу, что мне жаль

детерминизм и жаль вас.

Детерминизм в лучшем случае это, наиболее точно, теория о реальности Универсума. Если бы она и была точна, она всего лишь теория, интерпретация, осознанно спорный тезис, который нужно доказывать. Стало •быть, если бы я был детерминистом, я не мог бы поверить, что эта теория воздействует на первичную и несомненную реальность, которую мы сейчас описываем. Для детерминиста его жизнь как таковая относительно не детерминирована, и она выбирает в какой-то момент между детерминизмом и

индетерминизмом. Значит, ссылаться в этом плане на данный вопрос было бы равносильно незнанию того, чем является детерминизм, и незнанию, прежде всякой теории, того, что такое анализ первичной реальности. Того, что я сказал, недостаточно: жизнь - это одновременно фатальность и свобода, ограниченная возможность, во все же возможность, стало быть, открытая; но это невозможно и обосновать. Я не только не могу размышлять об атом, т. е. проверять, во поскольку я не должен размышлять об этом, мне даже следует сознательно избегать всех размышлений и ограничиться

выражением в понятиях, описанием первоначальной действительности, которая находится передо мной и которая является предпосылкой любой теории, любого размышления и любой проверки. (Например, описание этого театра.) Чтобы предотвратить грустные замечания наподобие этого, которые мне не хотелось бы слышать от вас, я с самого начала сделал довольно простое предупреждение. И сейчас - замечу в скобках - я позволю себе сказать, что теории детерминизма вот так, впрямую, сегодня не существует ни в философии, ни в физике. Чтобы сразу подтвердить эту

мысль, одновременно серьезно и кратко, я хочу, чтобы вы послушали, что говорит один из самых видных современных физиков - последователь и продолжатель Эйнштейна Германн Вейль ' в книге о логике и физике, Публикованной два года назад: "Из всего вышесказанного сегодня заметно выделяется физика, содержание которой - это сочетание законов и статистики в ситуации рискованной защиты детерминизма". Один из механизмов закрытости разума, о которых я упоминал, состоит в том, что когда мы слушаем нечто и ' нас возникает самое простое

возражение, мы не думаем, что это пришло в голову тому, кто говорит или пишет, и что, вероятно, это мы не поняли, что он говорит. Если мы так не думаем, мы неизбежно следуем за тем, кто говорит или кто написал книгу, которую мы читаем.

Ведь жизнь - это парадоксальная реальность, состоящая в том, что мы решаем, что мы будем, стало быть, в бытии, в котором нас еще нет, в начинании будущего бытия. В противоположность космическому жизненное бытие начинается через будущее, через потом.

Это было бы невозможно, если бы время было по происхождению космическим.

[Космическое время - это только настоящее, поскольку будущего еще нет, а прошлого уже нет. Каким же образом тогда прошлое в будущее продолжают составлять часть времени? Именно в этом сложность понятия времени, которое рискуют употреблять философы.

"Наша жизнь" размещена, стоит на якоре в настоящем моменте. Но что такое моя жизнь в данный момент? Нельзя сказать, что она состоит в

том, что я говорю; то, чем я живу в данный момент, это не движение губ, это действие механическое, вне моей жизни, принадлежат космическому бытию. Напротив, она состоит в том, что я обдумываю то, что собираюсь сказать; в данный момент я предвосхищаю, проектирую будущее. Но чтобы сказать, необходимо применить некие средства - слова, - и это предоставляет мне мое прошлое. Значит, мое будущее заставляет меня открыть мое прошлое, чтобы реализовать себя. Прошлое становится реальным сейчас, поскольку я, оживляю его, и когда я нахожу в своем прошлом

средства для воплощения моего будущего, тогда я открываю свое настоящее. Все это происходит одновременно, в любой момент жизни растягивается в трех измерениях реального внутреннего времени. Будущее отсылает меня к прошлому, прошлое - к настоящему, оттуда я вновь переносусь в будущее, которое забрасывает меня в прошлое, прошлое - снова в настоящее в бесконечном круговороте.

Мы стоим на якоре в космическом настоящем, оно как земля, которую попирают наши ноги, в то время как тело и голова устремлены в будущее. Кардинал Куаанский был прав, когда

на заре Возрождения сказал: Ita nunc
sive praesens complicat tempus.

Сейчас, или настоящее, включает все
время: уже, прежде -и потом.]

Мы живем в настоящем, в настоящий
момент, но оно существует для нас не
в первую очередь, но как земля, с
которой мы вырастаем в ближайшее
будущее.

Подумайте, ведь из всех точек земли
единственная, которой мы не можем
видеть непосредственно, это та, что
у нас. под ногами.

Прежде чем увидеть, что нас
окружает, мы представляем собой

изначальное скопление желаний, стремлений и иллюзий. Мы приходим в мир, разумеется, с системой предпочтений я пренебрежении, в большей или меньшей мере совпадая с будущим, которое каждый несет в себе, подобно батарее симпатий и антипатий, готовой стрелять за и против. Сердце, не знающий устали механизм предпочтений и отвращений, поддерживает- нашу личность.

Значит, не станем говорить, что первое - это впечатление. Нет ничего более важного для восстановления понятия "человек", чем исправление

традиционного взгляда, согласно которому, если мы желаем какой-то вещи, то потому, что видели ее раньше. Это кажется очевидным, и возможно, в этом кроется большая доля ошибки. Тот, кто хочет материального богатства, рассчитывает на него не потому, что желает видеть золото, но потому что станет искать его, где бы оно ни находилось, учитывая любую ситуацию, которая может дать прибыль. Напротив, артистический характер, человек с эстетическими предпочтениями пройдет мимо тех же самых ситуаций, не глядя на их экономическую сторону, и уделит

внимание, или, лучше сказать, станет
искать предчувствуемые прелесть и
красоту. Значит, нужно перевернуть
традиционные верования. Мы
желаем какой-либо вещи не потому,
что видели ее раньше, но, напротив,
потому что в глубине души
предпочитаем такой род вещей и
ищем их в мире с помощью наших
чувств. Из всех звуков, долетающих
до нас ежеминутно, слышимых нами,
на деле до нас доходят лишь те,
которым мы внимаем, т. е. те,
которые мы предпочитаем, которые
заслуживают нашего внимания, и
поскольку нельзя уделить внимание
одной вещи, не лишая внимания

других, слушая звук,
заинтересовавший нас, мы перестаем
слышать все остальные. Видеть -
значит смотреть, слышать в конечном
счете значит слушать, жить - значит
беспрерывно, изначально что-то
предпочитать и чем-то пренебрегать.

Это, возможно, наилучшим образом
проявляется в трепетной области
наших любовных чувств. В сонной
глубине души женщина всегда
спящая красавица в этом лесу жизни
и нуждается в том, чтобы ее
пробудили. В глубине своей души,
неосознанно, она носит
сложившийся образ мужчины, не
кого-то определенного, а

обобщенный тип совершенного мужчины. И всегда спящая, она сомнамбулически проходит меж встречающихся мужчин, сопоставляя их физический и моральный облик с существующим образом, которому отдается предпочтение.

Это служит объяснением двум явлениям, происходящим в каждом случае подлинной любви. Первое - это внезапность, с которой люди влюбляются; женщина - то же самое можно сказать и о мужчине - в один момент без перехода или движения оказывается поражена любовью. Это было бы необъяснимо, если случайной встрече с этим человеком

не предшествовало бы тайное и сокровенное вручение своего существа образцу, всегда носимому с собою. Другое явление состоит в том, что женщина, глубоко любящая, не только чувствует, что ее любовь будет вечной, но ей кажется также, что она любила этого человека всегда, с тайных глубин прошлого, с неизвестно какого времени прежних существования.

Эта вечная и как бы врожденная близость, разумеется, относится не к тому индивиду, который появляется сейчас, а к скрытому внутри образцу, который трепещет, как обещание, в глубинах покоя, наполняющего ев

душу, и в данную минуту, в этом реальном бытии находит исполнение в воплощение.

До такой степени человеческая жизнь представляет собой непрерывное предвосхищение, предварение будущего. Мы всегда очень проницательны в отношении вещей, воплощающих качества, которые мы предпочитаем, и, напротив, слепы для восприятия других, более или столь же совершенных качеств, чуждых присущей нам чувственности..

Первое - это будущее, за него всегда направлена ваше жизненное внимание, чтобы мы могли получить

в руки желаемое содержание. Для того чтобы мы увидели, чего мы от него требуем и чего ожидаем, нам нужно обратить взгляд в настоящее и прошлое, чтобы найти в них средства удовлетворить наше стремление. Будущее - это всегда капитан, вождь; настоящее и прошлое - рядовые и адъютанты. Мы живем, продвинувшись в будущее, опираясь на настоящее, в то время как прошлое, всегда точно, проходит с краю, чуть печальное, чуть увечное, подобно луне, которая из ночной прогулке шаг за шагом сопровождает нас, выглядывая из-за нашего плеча, являя нам свою бледную. дружбу.

В психологически верном порядке решающим является не то, чего мы были, а то, чем мы жаждали быть: желание, стремление, иллюзия. Наша жизнь, хотим мы этого или нет, по своей футуризм. Человек ведом du bout du nez своими иллюзиями, - образ, который в своей барочной живописности оправдай, поскольку действительно кончик носа - это то, что всегда впереди, что больше всего в нашем теле выдается в пространство, что нас предваряет и нам предшествует.

Принятие того или иного решения - это то, что в нашей жизни

олицетворяет свободу. Мы постоянно принимаем решения о нашем будущем бытии и для того, чтобы осуществить его, должны принимать в расчет прошлое и использовать настоящее, совершая действия в современности, и все это внутри "сейчас"; поскольку это будущее не какое бы то ни было, но возможно "сейчас", и прошлое - это прошлое вплоть до сейчас, а не прошлое кого-то, жившего сто лет назад. Вы видите? "Сейчас" - это наше время, наш мир, наша жизнь. Она течет, то спокойная, то бурная, то полная заводей, то подобная горному потоку, по ландшафту современности, этой

единственной современности этого времени, на которое мы вешаем абстрактную этикетку "1929 от Р.Х.". Мы вкраплены в него, оно отмеряет нам набор возможностей и невозможностей, условий, опасностей, случаев и средств. Оно ограничивает свободу решений, который движут нашу жизнь, и в противоположность нашей свободе представляет собой космическое принуждение, нашу судьбу. Ведь это не фраза, сказать, что наше время - это наша судьба. Настоящее, к которому сводится и в котором сосредоточивается прошлое - личное и историческое прошлое, - это ведь

доля фатальности в нашей жизни, и в этом смысле оно всегда имеет роковые размеры и поэтому представляет собой ловушку. Но ловушка эта не удушает, а оставляет поле для жизненных решений и всегда позволяет, чтобы навязанную ситуацию, ситуации судьбы, мы могли бы изящно разрешить и построить прекрасную жизнь. Стало быть, так как жизнь конституируется, с одной стороны, фатальностью, а с другой - необходимой свободой решать напромак, в ее же собственных корнях содержится материал для искусства, и ничто не символизирует

ее лучше, чем ситуация поэта, который подкрепляет фатальностью рифмы и ритма гибкую свободу своего лиризма. Любое искусство предполагает некие путы, судьбу, как говорил Ницше: "Художник - это человек, танцующий в кандалах". Фатальность, каковою является настоящее, это не несчастье, а радость, радость резца, ощущающего сопротивление мрамора.

Вообразите на минуту, что каждый из нас стал бы думать именно так лишь немного чаще, и это потребовало бы от него лишь немного больше изящества и силы, и, сложив эти минимальные

усовершенствования, вы увидите, какого огромного обогащения, какого сказочного облагораживания достигло человеческое сосуществование.

Это было бы жизнью в полной мере; вместо того чтобы часы проплывали мимо нас по течению, они прошли бы перед нами каждый в своей новой неотвратимости.

Не станем говорить также, что фатальность не позволяет нам улучшить нашу жизнь, поскольку красота жизни не в том, что судьба благоволит нам или наоборот - от судьбы не уйдешь, - но в изяществе, с

которым мы избегаем ее ударов и мимоходом создаем из ее роковой материи благородный образ.

Но сейчас следует соединить в одной точной формуле весь анализ, который мы произвели в отношении изначальной сущности нашей жизни. Это восприятие фундаментальных явлениях, легко ускользающих от понимания, подобно не поддающимся приручению птицам, и следует запереть их в клетке, в выразительном слове, которое всегда позволит нам разглядеть мысль.

Мы видели, что жизнь состоит в том, чтобы принять решение о том, что

мы будем. Хайдеггер очень тонко подмечает: в таком случае жить - это заботиться, забота то, что римляне называют сига, откуда идут слова "курировать", "куратор", "курьезный" и т. д. В староиспанском языке слово "заботиться", имело именно то значение, что в таких выражениях, как куратор, прокурор. Но я предпочитаю выразить идею сходную, хотя и не идентичную, словом, которое кажется мне более точным, и говорю: жизнь - это беспокойство, и не только в трудные минуты, но всегда, и в сущности, жизнь я есть лишь беспокойство. В каждый момент мы должны решать,

что мы будем делать в следующий,
что будет занимать нашу жизнь.

Но возможно, кто-то медлит,
колеблется, про себя возражает мне
следующим образом: "Сеньор, это
игра слов. Я допускаю что жизнь
состоит в том, чтобы каждую минуту
решать, что мы будем, но в слове
„беспокойство" в обычном языке
содержится смысл, который всегда
обозначает неудовольствие,
затруднение;

беспокоиться о чем-то - значит очень
серьезно ставить об этом [•вопрос.
Итак, когда мы решили прийти сюда,
провести этот отрезок времени

таким образом, у вас не было намерений решать серьезный вопрос. Таким образом, большая часть жизни, в том числе и вашей, лишена беспокойства. Зачем же употреблять столь важное, столь патетическое слово, если оно не совпадает с тем, что именуется? Мы, к сожалению, не находимся под властью романтизма, который поддерживает себя за счет преувеличения и неточностей. Нам необходимо говорить честно, ясно и точно, употребляя точные слова, продезинфицированные, как хирургические инструменты".

С другой стороны, не знаю, почему я подозреваю у некоторых из вас это

возражение. Это действительно
возражение точное, и для человека,
занимающегося интеллектуальной
деятельностью по склонности - я не
стремлюсь быть ничем Другим, а
этому посвящаю себя целиком, -
точные возражения - это самая
приятная вещь в мире, поскольку
интеллектуал пришел на эту землю
лишь затем, чтобы возражать и
выслушивать возражения. Таким
образом, я зачарованно принимаю
их, и не только принимаю, но и ценю
их, и не только ценю, но и добиваюсь
их. Я всегда извлекаю из них пользу.
Если мы в состоянии опровергнуть
их, они доставляют нам радость

победы, и мы чувствуем себя как меткий стрелок, попавший в цель; если же, напротив" возражение победит нас и даже убедит, что за беда? Это сладкое чувство выздоравливающего, очнувшегося от кошмара, мы рождаемся для новой истины, и зрачок сияет, отражая только что родившийся свет. Стало быть, я принимаю возражение: чистота, ясность, точность - это божества, которым и я с трепетом поклоняюсь.

Но, разумеется, если я подвергся атаке, пусть и воображаемой, я должен защититься с помощью действенного оружия, и если я

уверен в его чистоте, то вовсе не уверен, что на нем нет каких-нибудь зазубрин.

Мы предположительно остаемся с тем, что некоторые из нас пришли сюда, не беспокоившись относительно того, что они делают, не ставя об этом вопроса. Ничто не случается чаще, я если некоторая подозрительность психологов не помешала бы нам изменить мнение о том, что мы видим, мы стали бы считать что естественная форма жизни - это не-беспокойство. Но тогда если вы не пришли сюда по собственному разумению, обеспокоенные, то почему вы

пришли? Неизбежный ответ: потому что пришли другие. В этом весь секрет беспокойства. Когда мы полагаем не-беспокойство в нашей жизни, в каждый момент, мы позволяем ей, плыть по течению, движимой социальными потоками. И это то, что формирует среднего мужчину и среднюю женщину, т. е. огромное большинство человеческих созданий. Для них жить - значит вручить себя чему-то единообразному, дать привычке, предрассудку, навыку, средствам, сложившимся внутри, возможность заставлять их жить. Эти слабые души, которые, ощутив тяжесть,

одновременно печальную и радостную, собственной жизни, почувствовали себя напуганными и обеспокоились как раз тем, чтобы сбросить в плеч тяжесть, которой являются они сами, и переложить ее на коллектив; т. е. они беспокоятся о не-беспокойстве. Под видимым равнодушием не-беспокойства всегда кроется тайный страх, что самому придется определять изначально действия, деятельность, эмоции - скромное стремление быть как все, отказаться от ответственности перед собственной судьбой, растворяя ее в мире; это вечный идеал слабого: он

беспокоится о том, чтобы делать то же, что весь мир.

И если мы хотим найти образ, родственный глазу Гора, вспомним ритуал египетских погребений, народа, который веровал, что за гробом человек предстанет перед судом. На этом суде выносили приговор жизни человека, и первым и высшим основанием для него было взвешивание сердца. Чтобы избежать его, обмануть властителей этой и загробной жизни, египтяне делали так, что могильщики заменяли сердца из плоти бронзовыми скарабеями или сердцами из черного камня; они хотели подменить свою

жизнь. Именно это намереваются совершить те, кто лишен беспокойства: подменить самих себя. Они беспокоятся об этом. Нет способа уйти от основной особенности жизни, а так как ею является реальность, то лучше с легким налетом иронии повторить изысканный жест царицы фей Титании, которая в шекспировском лесу покрывает ласками ослиную голову.

Японские монахи проклинали все земное, следуя обычаю всех монахов, и чтобы подчеркнуть полную непокая ничтожность нашего мира, называли его "миром росы". Один из

поэтов, Исса, написал простое хайку, привлекающее мое внимание: "Мир росы - это лишь мир росы. - И однако!..". Однако... примем этот мир росы как материал для того, чтобы создать жизнь более полную.